Франсуа
МОРИАК

Инстинкт всегда подсказывал ему, когда женщина оказывалась в его власти и готова была молить о пощаде. Он слышал зов молодого женского тела. Он обладал столькими женщинами, к которым нельзя было подступиться! Они были замужем за настоящими мужчинами, не то что этот плюгавый Пелуер! Неужели уязвленная им, не в пример другим лишенная защиты, она будет единственной, кто ускользнет от него?

Поцелуй прокаженного

ISBN 5-275-00701-9

ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ
МАТЕРЬ
ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ
ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ
КЛУБОК ЗМЕЙ

Франсуа МОРИАК

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН

Франсуа
МОРИАК

ПОЦЕЛУЙ ПРОКАЖЕННОМУ
МАТЕРЬ
ПУСТЫНЯ ЛЮБВИ
ТЕРЕЗА ДЕСКЕЙРУ
КЛУБОК ЗМЕЙ



Поцелуй прокаженному
Франсуа Шарль Мориак

Аннотация
Франсуа Мориак. Поцелуй прокаженному
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Аннотация

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

Главный герой романа «Поцелуй прокаженному» — некрасивый, болезненный молодой человек, стеснительный и чудаковатый. Может ли он рассчитывать на свою долю женского тепла и ласки? И какой ценой можно добиться любви или заставить себя полюбить? Вновь автор ставит перед своими персонажами нелегкие нравственные задачи.

Франсуа Мориак
Поцелуй прокаженному

ЛУИ АРТЮ
его почитатель и друг
Ф. М.

I

Лежавший на кровати Жан Пелуер открыл глаза. Вокруг дома стрекотали кузнечики. Сквозь жалюзи расплавленным металлом струился свет. Морщась от горечи во рту, Жан Пелуер поднялся. Он был такого маленького роста, что низкое трюмо отражало его жалкую физиономию, впалые щеки, острый длинный красный нос, напоминавший замусоленный ребенком леденец. На морщинистый лоб углом спускались короткие волосы. Лицо Жана скривилось, обнажились гнилые зубы и десны. Ненависть к себе еще сильнее, чем обычно, захлестнула его, в мозгу, однако, промелькнула сострадательная мысль: «Не размять ли тебе ноги, Жан Пелуер?» И он провел рукой по заросшему подбородку. Но как выйти, не потревожив отца? Между часом и четырьмя Жером Пелуер неукоснительно требовал полной тишины: это время покоя было для него священным, оно помогало пережить ночную бессонницу. В эти часы весь дом замирал: ни одна дверь не открывалась и не закрывалась, ни единое слово, ни единый чих не нарушали мертвую тишину

помещения — десятилетними мольбами и жалобами отец выдрессировал и Жана, и слуг. Даже прохожие понижали голос под их окнами. Экипажи объезжали дом стороной. Но несмотря на то, что буквально все кругом оберегали его сон, едва пробудившись, отец принимался сетовать на звон посуды, лай, кашель. Может, он думал, что полный покой унесет его к покою вечному, как река несет свои воды к океану? Просыпался он неизменно в дурном расположении духа и даже в самый жаркий день, сверкая лысиной, усаживался с книгой в руках у кухонного очага. Кадетта колдовала над своей стряпней, обращая на хозяина внимания не больше, чем на подвешенный к потолку окорок. Жером Пелуер, напротив, наблюдал за старой крестьянкой, удивляясь, как это, родившись еще при Луи-Филиппе, она умудрилась ничего не знать ни о революциях, ни о войнах, ни о других промелькнувших за все эти годы событиях, и единственной ее заботой оставался выкармливаемый ею поросенок, которого закалывали под Рождество, после чего на ее гноящиеся глаза неизменно навертывались слезы.

Хотя после обеда весь дом отдыхал, пекло на улице манило Жана — прежде всего потому, что обещало уединение: вдоль узкой полоски тени,

которую отбрасывали здания, он проскользнул бы совсем незаметно, не вызвав смеха у девиц, сидящих с шитьем возле своих жилищ. Его жалкое бегство неизменно веселило женщин, но около двух они еще спали, — обливаясь потом, постанывая от досаждавших мух. Хорошо смазанная дверь даже не скрипнула. Жан пересек вестибюль, где из шкафов пахло вареньем и плесенью, а с кухни несло жиром. Его матерчатые туфли скрадывали звук шагов. С крюка под кабаньей головой Жан снял ружье, хорошо знакомое всем сорокам в округе. Жан слыл заклятым врагом сорок. На стойке накопилось много всякой всячины, оставшейся от прежних поколений: трость-ружье двоюродного деда Усилана, удочка и трость-шпага деда Лапенина, окованные железом палки, напоминавшие о водолечебнице в Баньер-де-Бигорре. Сервант украшало чучело цапли.

Жан вышел на улицу. Раскаленный воздух поглотил его, сомкнулся над ним, словно вода в бассейне. Жан решил было направиться к месту, где река, миновав деревню, выдыхает в ольховой роще родниковую свежесть. Но Жана там накануне допекли комары, к тому же ему хотелось перемолвиться с кем-нибудь словом. И Жан

двинулся к дому доктора Пьёшона, чей сын, студент-медик, приехал этим утром на каникулы.

Все погрузилось в спячку, лишь иногда через прикрытые ставни солнце зажигало блики на старушечьих очках. Жан Пелуер прошел между двумя глухими оградами садов. Это был его любимый путь, здесь ничей взгляд не подстерегал его, и он мог свободно предаваться своим размышлениям. Размышляя, он морщил лоб, жестикулировал, смеялся, декламировал стихи — над его пантомимами подтрунивал весь город. Здесь же друзья-деревья скрывали от посторонних его одинокие речи. Впрочем, Жан предпочел бы лабиринт улиц в большом городе, где прохожим нет до тебя дела и можно сколько душе угодно беседовать с самим собой. Так, по крайней мере, уверял в своих письмах Даниэль Трази. Даниэль вопреки воле родителей занялся в Париже литературой. Жан представлял себе гибкую фигуру своего приятеля, рассекающую, словно волны, толпу парижан; наверняка он и сейчас, прерывисто дыша, плывет к четко поставленным целям — богатству, славе, любви, недостижимым для Жана Пелуера.

Неслышным шагом вошел Жан в дом доктора. Служанка сказала, что господа завтракают в го-

роде. Жан решил подождать младшего Пьёшона. Характерная обстановка комнаты, выходившей в вестибюль, давала ясное представление о том, кто в ней жил: на стене полочка для трубок, афиша студенческого бала, на столе череп с кощунственной носогрейкой в зубах, книги, приобретенные специально для чтения в каникулы — «Афродита», «Римские оргии», «Сад пыток», «Дневник горничной»[1]. Внимание Жана привлекло «Избранное» Ницше[2] — он взял его в руки, полистал. Из открытого чемодана пахло летней одеждой. «*Что есть добро*? — прочел Жан. — *Все то, что возбуждает чувство силы, волю к власти, укрепляет человека. Что есть зло? То, что коренится в слабости. Пусть слабые и неудачники гибнут — слабого толкни. Вреднее всякого порока жалость, которую испытывает сила к немощным и опустившимся людям, — а не*

---

[1] Примечания: 1

«Афродита», «Римские оргии» — эротические романы французского поэта и писателя-модерниста П. Луиса (1870-1925).

«Сад пыток», «Дневник горничной» — романы французского писателя, романиста, драматурга, публициста и художественного критика О. Мирабо (1848—1917).

[2] Примечания: 2

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий мыслитель, в значительной мере определивший новую культурно философскую ориентацию и основные черты неклассического типа философствования. Философия Ф. Ницше стало опорой фашисткой идеологии с теорией «высших» и «низших» рас.

на этом ли строится все христианство?»

Жан Пелуер положил книгу на место. Прочитанное хлынуло в него, как полуденный свет в комнату, когда открывают ставни. Жан и впрямь машинально подошел к окну и впустил в комнату приятеля дневной свет, затем еще раз перечитал жестокие слова. Потом закрыл глаза, снова открыл и уставился на свое изображение в зеркале: невзрачная физиономия жителя ланд[3] — «ландурка», как дразнили его в коллеже, тщедушное тело, с которым ничего не смогла поделать даже все преображающая юность. Жалкий тип — таких спартанцы сбрасывали в пропасть. Он вспомнил себя пятилетнего у сестер-монахинь: несмотря на высокое положение Пелуеров в обществе, все первые места и лучшие отметки доставались детям кудрявым и красивым. Он вспомнил, как на контрольной по чтению прочел лучше всех, а его все равно поставили на последнее место. Жан Пелуер спрашивал себя иногда, любила ли его на самом деле рано скончавшаяся от чахотки мать. Сам он ее не помнил. Вот отец, тот души в

[3] Примечания: 3

Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100-150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7-8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.

нем не чаял: Жан был слабым отражением его самого, его бледной тенью в этом мире, где он осторожно прохаживался в домашних туфлях или возлежал на кровати, благоухающей валерьянкой и эфиром. Старшая сестра господина Жерома, тетка Жана, племянника терпеть не могла, однако она так обожала своего сына Фернана Казенава, человека видного, председателя генерального совета департамента, — она жила вместе с ним в Б., — что все остальные для нее как бы не существовали, она их в упор не видела. И все же порой она снисходила до Жана, так как, по ее расчетам, через племянника, обреченного на холостяцкое прозябание и раннюю смерть, все состояние ее болезненного брата должно перейти в руки Фернана. Перед взором Жана в единый миг предстала вся его неприкаянная жизнь. Три года в коллеже он провел, ревниво скрывая свою сердечную привязанность к приятелю Даниэлю Тразн и аббату, преподавателю риторики, которым было невдомек, что означает этот его взгляд — взгляд побитой собаки.

Жан Пелуер открыл книгу Ницше на другой странице — это оказалось «По ту сторону добра и зла» — и жадно впился глазами в высказывание под номером 260, где шла речь о двух типах мо-

рали: морали господ и морали рабов. Он глядел на свое освещенное солнцем, желтое, как обычно, лицо и повторял слова Ницше, проникаясь их смыслом, — порывами октябрьского ветра отзывались они в его душе. На мгновение Жану показалось, что его вера вырвана с корнем, подобно дубу. Разве не она в этот знойный день валяется у его ног? Нет и еще раз нет! Дерево еще поддерживало его множеством своих корней. После обрушившегося на него шквала Жан опять обретал в своем сердце любимую тень, тайну, хоронящуюся под густой, вновь недвижной листвой. Жан осознал вдруг, что религия для него прежде всего убежище. Ему, уродцу, лишившемуся матери, она служила утешением. На алтаре обитал Тот, кто заменял Жану друзей, которых у него отродясь не было, а на Богородицу перенес Жан преданность, которая предназначалась матери по плоти. Душившие Жана признания изливались в исповеди или в безмолвных молитвах в сумраке церкви, в ночной свежести темного нефа. И тогда сосуд его сердца разбивался у невидимых ног. Если бы у Жана были кудри, как у Даниэля Тразн, которого с самого детства не переставали ласкать женщины, стал бы он проводить свои дни среди старых дев и служа-

нок? Он был из рабов, на которых так ополчался Ницше. Об этом свидетельствовала его невзрачная наружность, он носил на себе неизгладимую печать проклятия. Казалось, он был создан для того, чтобы терпеть одно поражение за другим, как, впрочем, и его отец, такой же набожный, как Жан, но более подкованный в богословии, еще недавно штудировавший святого Августина и святого Фому. Жана мало заботили догматы, религия была для него лишь поводом излить свои чувства, тем не менее он восхищался отцом, искавшим ей разумное обоснование. Жан всегда помнил слова, которые отец любил повторять: «Без веры кем бы я стал?» Однако при всей своей вере он не мог в обычный день пойти на мессу из боязни простудиться. По большим праздникам его пускали в протопленную ризницу, откуда он, тепло закутанный, следил за церемонией.

Жан Пелуер вышел из дома. Он снова, размахивая руками, шел по проходу между глухими стенами под дружественной сенью безмолвных деревьев. Иногда ему представлялось, что вера, поддерживавшая его на плаву, неожиданно покинула его. И ничего, ничего не осталось. Подобный исход доставлял ему странное удовлетворение, на ум приходили школьные строчки: «Примерно

наказать меня решили боги. Хвала, бессмертным, вам за то, что вы так строги...»[4] Но через несколько шагов он уже доказывал деревьям, камням, стенам, что среди христиан есть подлинные господа и что святые, великие ордена, сама католическая Церковь являют собой высочайший пример воли к власти.

Поглощенный таким множеством мыслей Жан пришел в себя лишь от звука собственных шагов в вестибюле — тут же со второго этажа донесся стон. Сонный плаксивый голос отца позвал Кадетту. На кухне застучали стоптанные башмаки служанки, во дворе залаяла собака, открыли ставни — пробуждение господина Жерома выводило из оцепенения весь дом.

Опухшие глаза, горечь во рту — отцу в эти минуты все представлялось в черном цвете. Жан поспешил укрыться в гостиной, где было прохладно, как в погребе. Налет на стенах скрывали заплесневелые обои. Бой часов здесь зачастую некому было слушать. Жан уселся поглубже в кресло. На душе у Жана было неспокойно, его вера теряла опору. Прожужжала и замолкла муха. Закукарекал петух, послышалась птичья трель

---

[4] Примечания: 4

Расин. Андромаха. Пер. И. Шафаренко и В. Шора. *(Здесь и далее примеч. пер.).*

— снова петух... часы пробили половину... опять петух... один... другой... Жан задремал.

Проснулся Жан в отрадный час, когда он обычно окольными улочками добирался до небольшой дверцы, ведущей в благовонный сумрак церкви. Отказаться ли ему теперь от этих свиданий с Богом? Но на какое еще свидание может рассчитывать такой мозгляк, как он? Вместо церкви Жан пошел в сад: заходящее солнце обещало прохладу. Там порхали белые бабочки. Внук Кадетты — красивый малый в сабо на босу ногу, любимец девушек — поливал салат. Жан Пелуер избегал этого парня, ему претило, что тот его слуга. Не справедливее ли было бы такому тщедушному типу, как Жан, ублажать этого юного, излучавшего довольство огородного бога? Жан даже издалека не отважился ему улыбнуться. С крестьянами Жан держался на редкость скованно. Сколько раз он пытался помочь кюре в благотворительных делах, в церковной школе, но всегда непонятный стыд сковывал его, обращал в посмешище, заставлял вернуться к своему одиночеству.

Господин Жером тем временем шел по аллее, окаймленной подстриженными грушевыми деревьями, гелиотропами, резедой, геранью, где все перебивал запах огромной липовой рощи,

заполнявшей, казалось, все пространство до самых небес. Господин Жером еле волочил ноги. Штанина застряла в туфле. На голове — помятая соломенная шляпа с отделкой из муара, на плечах — принадлежавшая сестре старая вязаная накидка. В руках у отца Жан признал том Монтеня[5]. Конечно же, в «Опытах», как и в религии, отец находил оправдание своему бездействию, они придавали его отношению к жизни некое подобие мудрости. Да, именно так, думал Жан, бедняга называет это стоицизмом, христианским смирением, на самом деле он просто не хочет признать, что потерпел полное поражение в жизни. Жан хвалил себя за проницательность. Да, он любил отца, жалел его и в то же время презирал. Больной без конца причитал: в затылке колет, тяжело дышать, тошнит... А тут еще к нему ворвался арендатор Дюберн д'Уртина и потребовал еще одну комнату, а то, видите ли, некуда поставить шкаф его замужней дочери. Почему его не оставят в покое? Почему не дадут спокойно умереть? В довершение всего завтра четверг, базарный день, мало того, к нему пожа-

[5] Примечания: 5

Монтень М. (1533—1592) — французский философ, писатель, политический деятель эпохи Возрождения. Выступал против теологического догматизма и схоластического авторитаризма

луют сестра Фелисите и племянник — их потом не выгонишь. И весь этот бедлам начнется чуть свет, спозаранок больного разбудит скотина на базарной площади, а у дверей затарахтит машина Казенавов, возвещая о начале еженедельной напасти. Фелисите вломится на кухню и в угоду своему сыну поломает весь распорядок дня брата. Эта парочка укатит только вечером, оставив Кадетту в слезах и хозяина дома полуживым.

Слабый, беззащитный перед врагом, господин Жером втайне лелеял свою месть. Он так часто бормотал под нос, что оставит Казенавам «кукиш с маслом», что Жан поначалу не придал значения словам отца, когда тот наконец заговорил с ним об этом. «Мы обведем их вокруг пальца, Жан, только ты должен все сделать, как я скажу. Сделаешь?» Витавший в облаках Жан только улыбнулся в ответ. Тем временем отец оглядел его с ног до головы и сказал: «Тебе в твоем возрасте следует больше заботиться о своей одежде, ты ведь не на паперти стоишь!» И хотя господин Жером никогда прежде не обращал внимания на то, во что одет его сын, Жан и не подумал спросить, что тот имеет в виду. Жан вообразить себе не мог, какой сюрприз готовит ему судьба. Взяв из отцовских рук Монтеня, Жан прочел: «*Что до*

меня, то я поклонник жизни как бы скользящей, малоприметной, немой»[6]. Вот и они с отцом скользят по жизни неприметно, в безмолвии. Вода в озере подернулась рябью, вокруг мертвого крота сновали головастики. Опасаясь простуды, господин Жером поспешил к дому. От нечего делать Жан выглянул через приоткрытую калитку сада на улицу. Заметив его, внук Кадетты выпустил из рук девушку, которую сжимал в объятиях, — словно яблоко обронил.

[6] Примечания: 6
Монтень. Опыты. Ч. 3. Гл. X. Пер. А. С. Бобовича.

II

В эту ночь Жан Пелуер почти не спал. Открытые окна глядели в белесую ночь — из-за кваканья лягушек в пруду было шумно, как днем. Обманчивый свет звезд до самой зари не давал угомониться петухам. Городские петухи перекликались с фермерскими, а те разносили петушиные крики дальше. «Тысячекратный зов, на сменах повторенный...»[7] Жан не спал, прислушиваясь к глухому звучанию стиха. Через оконные переплеты в комнату струилось сияние звезд, поглощавших небесную лазурь. Жан подошел босиком к окну и уставился на звездные миры, называя их по именам. При этом его неотступно преследовал вчерашний вопрос: что для него вера — некая совокупность идей или хитроумный способ утешить самого себя? Разумеется, среди господ преобладали верующие. Но разве Шатобриан[8], к примеру, не рискнул

[7] Примечания: 7

Бодлер. Маяки. Пер. Вяч. Иванова.

[8] Примечания: 8

Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848) — французский политический деятель эпохи Реставрации, писатель, один из основоположников романтизма в европейской литературе.

хоть раз пожертвовать вечностью ради женской ласки? А сколько раз ради поцелуя предавал Сына человеческого Барбе д'Оревильи[9]? И не было ли их предательство ценой за обретенную победу?

На рассвете Жана разбудил жалобный визг поросят. Как и вообще по четвергам, Жан поостерегся открывать ставни, чтобы с рынка никто его не увидел. На тротуаре, прямо под окнами мадам Буриде, продавщица остановила Ноэми д'Артьял, чтобы спросить, успела ли та позавтракать. Жан не спускал жадных глаз с семнадцатилетней Ноэми. Ее лицо испанского ангелочка, обрамленное каштановыми кудрями, не очень сочеталось с коренастой фигурой, но Жану как раз и нравился контраст молодого, крепкого, слегка угловатого тела с ангельским личиком — местные кумушки недаром твердили, что Ноэми д'Артьял прямо загляденье. Приземистая Рафаэлева мадонна, она пробуждала в Жане все самое лучшее и самое худшее, рождала высокие мысли и вызывала низменные вожделения. Ее нежная шея покрылась испариной. Длиннющие ресницы и темные бездонные глаза придавали девушке целомуд-

[9] Примечания: 9

Барбе д`Оревельи Жюль Амеде (1808—1889), французский писатель, поздний романтик. Критиковал общество с позиций нравственно католического максимализма

ренный вид.

Младенческое лицо, девственно-детские губы — и неожиданно здоровые, как у парня, руки и затянутые шнуровкой мощные плотные икры. Жан следил за этим ангелом украдкой, а вот внук Кадетты, тот мог разглядывать Ноэми в упор — такие красавчики, пусть даже из простонародья, вправе пялить глаза на любых девушек. Жан едва осмеливался вдыхать потревоженный ее перкалевым платьем воздух, запах туалетного мыла и чистого белья, когда на обедне, пересекая неф, она задевала его стул. Вздохнув, Жан надел вчерашнюю (она же позавчерашняя) рубашку. Его тело было без толку ублажать. Для умывания он брал кувшин с водой и тазик, такой крошечный, чтобы можно было, не поломав, открывать крышку комода. В саду под липой Жан молиться не стал, а уткнулся в газету так, чтобы внук Кадетты не видел его лица. Он еще насвистывал, этот поганец! С красной гвоздикой за ухом внук Кадетты выглядел расфуфыренным самцом. Его синие брюки поддерживал ремень. Жан Пелуер люто ненавидел этого баловня судьбы и сам ужасался своей ненависти. Даже мысль о том, что этот хлыщ рано или поздно превратится в обрюзгшего крестьянина, не согревала душу, ведь к тому

времени на его место заступит другой — другой, столь же крепкий, столь же хорошо сложенный парень будет поливать салат, подобно тому как в воздухе будут порхать другие белые бабочки, как две капли воды похожие на сегодняшних. «Этим летним утром моя душа еще уродливее моего лица», — подумал Жан.

Из дома донеслись звуки флейты. Неужели это кюре? Его ежедневный визит обычно не приходился на эту пору. Как это он не побоялся прийти, зная, что Фернана Казенава воротит от одного только вида священнослужителя? Спрятавшись за липой, Жан Пелуер видел, как мимо трусцой пробежал Фернан, — он всегда бегал перед тем, как сесть за стол. За ним, задыхаясь, трусила его мать. Крупная, с большими ногами, с лицом старой матроны, она упиралась подбородком в дебелую грудь. Ни дать ни взять разладившаяся, отслужившая свое громоздкая машина, послушная воле своего любимца сына: тот словно нажимал кнопку, пуская в ход заржавленный механизм. Советник соизволил остановиться и подождать мать, он вытер платком влажный лоб и поправил соломенную шляпу. Насупленное божество обливалось потом. Металлический взгляд из-под очков ровным счетом ничего не выражал.

Мать расчищала ему дорогу, обламывая людей, словно ветки. Рассказывали, как однажды она выдала: «Если Фернан женится, моя сноха долго не протянет». Немудрено, что место снохи занять так никто и не рискнул, да и какая женщина согласилась бы кормить и нянчить этого увальня, который привык, чтобы его и на шестом десятке обслуживали, как младенца? «Затренькал, сволочь», — пробормотал Фернан, заслышав звон церковного колокола.

Жан проскользнул к столу, когда за ним с салфетками на груди уже восседали Фернан с матерью. Господин Жером немного припоздниился. Он сел сгорбившись, с виноватым видом, но, окинув быстрым взглядом присутствующих, не побоялся признаться, что его задержал кюре. На беду хозяев, когда подали баранью ногу, разразилась гроза. Первый кусок подали Фернану, и тот, взмахнув вилкой, обернулся к матери. Фелисите понюхала кусок, перевернула и бросила сквозь зубы: «Пережарено!» И гости разом отодвинули тарелки. Появилась Кадетта и с затравленным видом принялась, коверкая слова, защищать свою стряпню, что, впрочем, было излишне, ибо господин советник, сменив гнев на милость, умял и пережаренное мясо. Насытившись, он извинил-

ся, что не пришел поздороваться с дядей сразу по приезде, так как в вестибюле увидел шляпу священника. Пелуеры знали, что священники вызывали у Фернана физическое отвращение. Не поднимая глаз, господин Жером монотонным голосом произнес: «Кюре явился поговорить со мной о тебе, Жан. Поверишь ли, он задался целью тебя женить!» Фернан, ухмыльнувшись, бросил: «Чушь какая-то! Жану и двадцати трех нет». И тут же взорвался: что взбрело в голову этому святоше! Какое право он имеет совать свой нос в их семейные дела! И совершенно бестактно вполголоса добавил: «Еще неизвестно, способен ли Жан создать семью». Мать взглядом приструнила своего нахала сына. «Было бы чудесно, если бы Жан женился, — сказала она, — дому так нужна хозяйка! Правда, у нынешних девушек все больше дурь в голове, да и потом — это нарушит устоявшийся уклад жизни моего дорогого брата». Фернан, успокоившись, согласился с матерью: конечно, почему бы Жану не жениться? Только не выйдет ли ему это боком: у драгоценного племянника свои привычки, причуды, как у старого холостяка? Брату, если таковое случится, разумнее было бы не жить вместе с молодой четой, ввернула тетя Фелисите: сразу столько забот на

голову! И она напомнила, чем заканчивались попытки отправить Жана в коллеж. Уже и место было забронировано, и вещи собраны, коляска подана, но его отец в последний момент шел на попятную.

Жан встревожился, хотя ничуть не сомневался, что вся история с женитьбой от начала до конца выдумана отцом. Покопавшись в памяти, Жан вспомнил вечер второго октября, когда его под дождем и впрямь ожидало дряхлое ландо, чтобы отвезти в благочестивое заведение в Базаде, где дети со всей округи корпели над своими тетрадями, мечтая в душе об охоте. Чемодан Жана, доставшийся ему от двоюродного дедушки, до сих пор был обклеен бумагой в цветочек. Жан помнил, как рыдал отец, — так страшил его момент расставания. Бедняга, разумеется, и потом требовал тишины, но эту тишину стали изредка нарушать детские проблемы живущего с ним бок о бок сына.

До пятнадцати лет Жан занимался с кюре, а в коллеж поехал лишь сдавать экзамены. И вот теперь — что за внезапная блажь с его женитьбой? Жану пришли на память странные слова, сказанные отцом накануне в саду... Впрочем, к чему беспокоиться? Жан повторял себе, что не

способен создать семью. Казенавы, должно быть, не в своем уме, если приняли шутку всерьез. Теперь они донимали отца, чтобы тот назвал имя избранницы. Наступившее время сиесты позволило отцу уклониться от ответа. Несмотря на жару, гости двинулись в сад, и Жан в тревоге наблюдал из коридора за их оживленной беседой. При звуке мотора, возвестившем, что гости уехали, больной проснулся. Услышав, что отец зашаркал туфлями, Жан вошел в его пропахшую лекарствами комнату. В этой удушливой атмосфере Жану дали понять, что его на самом деле хотят женить и в жены ему прочат не кого-нибудь, а Ноэми д'Артьял. Наклонное зеркало на ножках отражало тело Жана, такое же сухое, как сожженная вересковая пустошь. «Она не захочет», — пробормотал он и вздрогнул, услышав совершенно немыслимый ответ: «Разговор с ней уже вели, она не против». Ее семейство и не мечтало о таком браке. Но Жан качает головой. Вытянув вперед руки, он словно пытается отогнать видение. Девушка в его объятиях, по своей воле! Та самая Ноэми из церкви, в чьи агатовые глаза он не осмеливался даже взглянуть! Ветерок в нефе, когда ее таинственное тело скользило мимо, овевал Жана, и это было подобно поцелую.

Тем временем отец излагает свои мысли — вернее, мысли кюре — по поводу женитьбы Жана. Пелуерам нужны наследники, чтобы ничто из их имущества не перепало тетке Фелисите и Фернану Казенаву. Господин Жером добавляет: «Ты ведь знаешь, если кюре что-нибудь задумал, он не отступится». Жан натянуто улыбается, уголки губ дрожат: «Ей будет противно со мной». Отец и не возражает. Его самого никогда не любили, поэтому ему и в голову не приходит, что сыну может привалить такое счастье. Однако он с готовностью напоминает о достоинствах Ноэми, которую, заботясь о своем приходе, избрал для Жана кюре. Ноэми из тех, кто не ищет в браке плотских радостей, для нее долг превыше всего, она будет предана Богу и своему супругу. Она будет одной из тех матерей, которые сохраняют святую простоту и невинность даже после многочисленных родов, — такие редко, но встречаются. Прокашлявшись, господин Жером растрогался: «Если я буду знать, что ты удачно женился и Казенавы не могут причинить тебе вреда, я смогу спокойно умереть». Кюре считает, что нужно ковать железо, пока горячо: Жан может видеться с Ноэми уже с завтрашнего дня. Она будет ждать его после завтрака у кюре в доме, а уж повод оста-

вить их наедине мадам д'Артьял найдет. Отец говорил быстро, раздраженно — даже пальцы у него дрожали, — предвидя, что Жан будет возражать, отказываться и его придется уламывать. Но Жан совсем потерял голову и не знал, что сказать. Стыдно так трусить! Разве не наступил момент выбраться из стада рабов и совершить поступок, достойный господина? Уникальный шанс разбить оковы, стать настоящим мужчиной. Отец ждал ответа, и Жан кивнул в знак согласия. Впоследствии, вспоминая эту минуту, когда повернулась его судьба, Жан вынужден был признать, что все решил десяток плохо усвоенных страниц Ницше. А в тот момент он так быстро ретировался, что господин Жером рот открыл от изумления — настолько легко досталась победа — и тут же решил как можно скорее сообщить новость кюре.

Не успел Жан сойти с лестницы, как уже уверовал в чудо, утратив в какой-то мере свое целомудрие, ведь ему дали понять, что он вовсе не обречен на вечную девственность. Жан представил себе, как смотрит в темные глаза Ноэми. Да от одного этого ноги подкосятся!

Жан решил, что ему надо вымыться. Ванна в доме Пелуеров была завалена картошкой, что

не редкость в этих краях. Пришлось Кадетте ее убирать.

После обеда Жан прошелся по городку. Он следил за собой, чтобы, не дай бог, не замахать руками, не заговорить с самим собой. С чопорным видом, напряженный, он приветствовал каждую группу знакомых, которые, как болотные лягушки, внезапно замолкали при его появлении. Но никто даже не улыбнулся. Наконец, когда последние дома остались позади, на пыльной дороге, тянувшейся между двумя рядами черных, дышащих жаром, словно в парилке, сосен, наполнявших лесной собор благоуханием, как из множества кадильниц, Жан с бодрым видом щелкнул пальцами и, рассмеявшись, воскликнул: «Я из расы господ, из расы господ!» Потом, сохраняя цезуру в стихе, продекламировал: «Какие тайные пружины — чудеса какие — подвигнули нам в помощь небеса святые?»

III

Жан Пелуер опасается, что беседа вот-вот иссякнет: боязнь тишины заставляет кюре и мадам д'Артьял в безумном расточительстве касаться то одной, то другой темы. Платье Ноэми обволакивает стул, словно магнолия, вырастающая из вазы. Как сильно пахнущие цветы, которые не советуют оставлять в спальне на ночь, Ноэми пропитывает в этот знойный июльский день своим девичьим запахом скромную гостиную, где отовсюду — со стен, с камина — смотрит Бог. Жан косится, не поворачивая головы. Он разглядывает спустившуюся с пьедестала Ноэми, которая с такого близкого расстояния выглядит очень необычно — словно под увеличительным стеклом. Он жадно ищет недостатки, «пятна» в этом живом трепещущем драгоценном металле: на крыльях носа — черные точки, на шее в самом низу — старый след от ожога йодом. Шутка кюре заставляет Ноэми на секунду улыбнуться, и Жан успевает различить в ровном ряду ее зубов один темноватый, который растет как-то не так. Под его пристальным взглядом Ноэми опускает свои

большие темные глаза долу, может, он потому и впился в нее взором, чтобы не дать ей возможность хорошенько разглядеть его самого. Хорошо еще, что кюре не нуждается в собеседниках, он говорит без умолку и проповедует на самые разные темы.

Хотя кюре маленький и кругленький, жизнерадостным его не назовешь. Несмотря на полноту, в его облике есть некая суровость. Фермеры его не очень привечают, зато в городке кюре любят: не одна душа под его водительством достигла высот духовного совершенства. Он из тех, кто наследует землю. Казалось бы, приятные манеры, сокрушенный вид, податливость — но с пути его не сбить. Самых красивых девушек он отваживает от воскресных балов и по возможности мягко отвращает юношей от любовных похождений. Никому невдомек, что это он в последний момент удержал почтмейстершу от падения. И это он решил, что нехорошо Жану Пелуеру оставаться одному. Для кюре было важно еще и то, чтобы состояние Пелуеров не перешло в один прекрасный день к Казенавам — волк не должен проникнуть в овчарню.

Никогда раньше Жан не замечал, как высоко поднимается грудь женщины, когда она дышит:

Ноэми почти касалась ее подбородком. Кюре решил не ходить больше вокруг да около: он встал со словами, что милым детям, наверное, есть что сказать друг другу, и пригласил мадам д'Артьял в сад, чтобы показать, какой большой урожай слив ожидается в этом году.

Словно для какого-нибудь научного опыта, маленького испуганного чернявого самца оставили в темной комнате с прекрасной самкой. Жан замирает на месте, не поднимая глаз: теперь это ни к чему, теперь он сам во власти чужого взгляда. Девушка рассматривает ничтожество, назначенное ей судьбой. Молодой красавец с изменчивым ликом, обитающий в девичьих грезах, во время бессонницы подставляющий широкую грудь и заключающий в жаркие объятия, — он теперь расплывается в полумраке дома священника, исчезает навсегда в самом темном углу гостиной, что твой сверчок. Ноэми глядит на своего суженого, от которого теперь никуда не деться: Пелуерам не отказывают. Родители Ноэми места себе не находят, боясь, как бы молодой человек не передумал, они и вообразить себе не могут, что заартачится их дочь. Ноэми тоже такое в голову не приходит. Вот уже четверть часа ее суженый грызет ногти и ерзает на стуле. Наконец подни-

мается. Стоя, Жан кажется еще ниже. Он что-то бормочет под нос, Ноэми переспрашивает, и ему приходится повторить:

— Я знаю, что недостоин...

— Да что вы, мсье... — возражает Ноэми.

У Жана приступ самоуничижения, он признает, что его нельзя полюбить, и умоляет лишь, чтобы позволили любить ему самому. Слова льются как из рога изобилия. К двадцати трем годам Жан дождался наконец случая открыть свое сердце женщине. Он по привычке размахивает руками, словно в одиночестве обнажает свою душу, — впрочем, он так и так одинок.

Ничему не удивляясь, Ноэми созерцала дверь. Она слышала, как люди называли Жана тронутым, говорили, что у него не все дома. Он болтал без умолку, а дверь все не открывалась, казалось, никого не было в доме, кроме этого размахивавшего руками чудака. Ноэми совсем растерялась, к горлу подступили слезы. Но вот Жан замолк, и ей стало страшно, как будто где-то в комнате затаилась летучая мышь. Когда кюре с мадам д'Артьял вернулись, она бросилась на шею матери, не представляя себе, что подобное излияние чувств примут за согласие. Но кюре уже прижимал к себе Жана. Дамы ушли одни, чтобы

не привлекать внимание соседок. Сквозь щель между ставнями Жан видел рядом с худощавой, поджарой мадам д'Артьял, по-собачьи переставлявшей ноги, Ноэми в чуть помятом платье, ее поникшую голову — она походила на сорванный, едва живой цветок — цветок, которому не суждено распуститься.

Этот нелюдим, привыкший прятаться от мира, чтобы его никто не увидел, прямо-таки одурел от поднявшегося вокруг него шума. Случай вытащил его на божий свет, словно слова Ницше, обретя силу магической формулы, разрушили стены его темницы. Жан вбирал голову в плечи, растерянно моргал, напоминая потревоженную днем ночную птицу. По-другому вели себя и окружавшие его люди. Господин Жером нарушал дотоле незыблемый порядок дня, вместо привычной сиесты провожая кюре до ризницы. Казенавы в четверг не явились, зато они усиленно распространяли постыдные слухи о неких качествах Жана, будто бы не позволяющих выполнять семейные обязанности.

Смирение Жана было таким глубоким, что он искренне изумлялся, как это тетка с кузеном могут ему в чем-то завидовать. Соседки судачили о том, что Ноэми, бесспорно, заслужила свое сча-

стье. Это стариннейшее семейство находилось в тяжелом материальном положении. Потерпев неудачу в нескольких начинаниях, известный своим трудолюбием мсье д'Артьял не постеснялся поступить на службу в мэрию. Ни для кого не было секретом, что на Пасху д'Артьялам пришлось рассчитать единственную домработницу. Глядя в зеркало, Жан Пелуер уже не казался себе таким уродливым. Кюре не уставал повторять, что Жан хотя и неказист, наделен незаурядным умом. Почтительное молчание, с каким Ноэми, сидя на диване, слушала Жана, наводило его на мысль, что кюре прав: серьезная девушка и впрямь ценит в женихе прежде всего ум. Он забывался, как прежде, когда разговаривал сам с собой, морщил лоб, жестикулировал, невпопад цитировал стихи — и прекрасная девушка, съежившаяся на углу дивана, казалось, внимала его речам столь же благосклонно, как раньше деревья на пустынной дороге. В своих признаниях Жан зашел слишком далеко и даже упомянул о Ницше, который, возможно, заставит его пересмотреть свои моральные принципы. Ноэми вытирала влажные руки скомканным платком и бросала взгляд на дверь, за которой шептались ее родители. Разговора их она, к счастью, не слышала: отца Ноэми

очень тревожили слухи о будущем зяте. Наученный горьким жизненным опытом, он нисколько не сомневался, что внешне выгодная для дочери партия непременно таит в себе какую-нибудь напасть, на что мадам д'Артьял отвечала, что дурные слухи разносят Казенавы и что если Жан Пелуер до сих пор и сторонился женщин, то причиной тому его благочестие и робость.

В комнату струился лунный свет. Пробило одиннадцать. Мадам д'Артьял открыла дверь, не кашлянув предварительно и не постучав, и очень огорчилась, что не застала молодых в положении, которое наводило бы на определенные мысли. Она извинилась, что потревожила «голубков», но им с дочерью уже пора откланиваться. На прощание Жан коснулся губами волос Ноэми, после чего в компании собственной тени отправился бродить по улицам.

Его победные шаги будили сторожевых собак, которым луна мешала заснуть снова; так, даже в ночную пору, он умудрялся будоражить всю округу. Странное дело, но Жан уже не испытывал того волнения, какое охватывало его, когда Ноэми плыла по церкви в своем отутюженном платье. Время от времени Жан встряхивал головой, чтобы отогнать мысль о той сентябрьской

ночи, когда она станет его женой. Эта ночь никогда не наступит: случится война, кто-нибудь из них умрет, разверзнется земля...

Ноэми д'Артьял в рубашке до пят шептала под звездным небом слова молитвы. Холод мощенного плитками пола был приятен ее ногам. Беззащитную нежную шею окутывала ночная мгла. Ноэми не стала смахивать рукой застывшую слезинку, просто слизнула ее языком. Шелест липы, ее запах достигали Млечного Пути. Чуть безумные девичьи мечты уже покинули эту небесную колею. Сверчки, стрекотавшие в своем убежище, напомнили Ноэми о ее будущем муже. В этот вечер, растянувшись на простыне, предавая всю себя без остатка теплому течению ночи, Ноэми сначала плакала тихо, а потом зарыдала, уже не сдерживаясь. Она с жалостью глядела на свое нетронутое целомудренное тело, пламенеющее жизнью и в то же время полное какой-то растительной прохлады. Что с ним сотворит этот сверчок? Ноэми знала, что за ним будет право на любую ласку, и даже на ту загадочную и страшную, после которой родится ребенок, родится тщедушный чернявый маленький Пелуер. Этот сверчок будет всю жизнь рядом с ней, даже в кровати. Ноэми плакала навзрыд

так, что наконец явилась мамаша — вышитая кофта с фестонами, жидкая коса. Малышка тут же сочинила, что замужество вообще вызывает у нее отвращение, что она хочет уйти к кармелиткам. Спорить мадам д'Артьял не стала, просто прижала дочь к груди. Рыдания постепенно утихли. Тогда мадам д'Артьял сказала, что в таких делах надо полагаться на своего духовника. А разве не сам господин кюре выбрал для нее этот путь? Послушная душа, нежная, благочестивая, Ноэми не нашлась что ответить. Романов она не читала. Родительская воля была для нее законом, она не стала протестовать. Ее убедили, что мужчина вовсе не должен быть красавцем, что брак рождает любовь, как яблоня — яблоко... Но чтобы ее убедить, достаточно было несколько раз повторить незыблемую фразу: Пелуерам не отказывают. Разве можно не дать согласие Пелуеру-младшему, отвергнуть все эти фермы, овечьи стада, столовое серебро, копившееся десятилетиями белье во вместительных высоких благоухающих шкафах — отвергнуть все самое лучшее, что есть в их краю, краю песчаных равнин? Разве можно ответить отказом Пелуеру-младшему?

IV

Земля не разверзлась. Никаких небесных знамений не случилось, и заря в этот сентябрьский вторник мягко осветила землю. Жан Пелуер спал как убитый — его пришлось будить. Каменный порог и плиты передней были устланы ветками самшита, листьями лавра, магнолии. Их запах перебивал все остальные запахи в доме. Шептались подружки невесты, не садившиеся, чтобы не помять платьев. Зал «Красной лошади» украшали бумажные гирлянды. Готовый праздничный обед должны были привезти из Б. десятичасовым поездом. Со всех сторон в открытых колясках целыми семьями прибывали гости. Все были в белых перчатках. Солнечные блики играли на цилиндрах мужчин, чьи фраки так изумляли крестьян.

Господин Жером продемонстрировал всем, что он свое дело сделал: он даже с кровати не встанет. Так он реагировал на все похороны и свадьбы в округе. Если случалось какое-нибудь торжественное событие, он проглатывал снотворное и задергивал занавески. Когда в свое время у

его жены началась агония, господин Жером лег наверху носом к стене и соизволил открыть глаза лишь после того, как ему доложили, что гроб уже закидали землей и что последний из гостей отправился восвояси. Когда в день свадьбы бледный как полотно Жан с потерянным видом явился за отцовским благословением, тот даже не разрешил Кадетте открыть ставни.

Ужасный день! Жану Пелуеру вспомнился весь его позор. Несмотря на то, что свадебный кортеж двигался под колокольный звон, сетования из толпы достигали его чуткого уха охотника. «Вот досада!» — бросил какой-то парень. Девушки, забравшиеся на стулья, прыскали со смеху. Жана охватила дрожь, он вцепился в бархат скамьи. Впереди сверкал огнями алтарь, позади бурлила толпа. По сторонам Жан не глядел, но чувствовал, как трепещет рядом загадочное женское тело. Голос кюре не умолкал. Ах, если бы его речь никогда не кончалась! Но солнце, изрешетившее щербатый пол церкви, клонилось к закату, близилась разоблачительница-ночь.

Жара испортила праздничный стол. Один лангуст попахивал, мороженое превратилось в желтую бурду. Мухи облепили печенье и ни в какую не желали улетать. Грузные дамы изнывали

в своих нарядах. Обильный пот заливал одежду, стекая под корсажами, и ничего нельзя было поделать. Лишь детишки радостно галдели за своим столом. Из глубины своего отчаяния Жан зорко следил за лицами гостей: о чем это Фернан Казенав шепчется с дядей Ноэми? Жан, как глухонемой, угадывал все по губам: «Послушай нас, вовремя горю можно было бы помочь. Но мы в нашем положении не могли вмешиваться — нас бы неправильно поняли».

V

Комната в доме Аркашонов была меблирована под бамбук. Домашняя утварь стояла на самом виду. Обои были запачканы пятнами от раздавленных мух. Через открытое окно доносился запах моря, запах рыбы, водорослей, соли. Звук тарахтящего мотора удалялся к фарватеру. Два ангела-хранителя стыдливо прятали свои лица в кретоновой занавеске. Жану долго пришлось преодолевать свою собственную скованность, а потом бороться с неподвижной, словно труп, Ноэми. Слабый стон на рассвете обозначил конец этого шестичасового поединка. Весь в поту Жан даже боялся пошевелиться — он сам себе казался червем, отвалившимся от мертвого тела.

Ноэми походила на мученицу, которую сморил сон. Прилипшие ко лбу волосы, как у умирающей, делали ее лицо — лицо побитого ребенка — еще тоньше. Скрещенные у беззащитного горла руки сжимали немного выцветшую ладанку и медальон. Хотелось поцеловать эти ноги, хотелось схватить это нежное тело, осторожно, не разбудив, отнести его далеко в море и погрузить

в божественную пену.

VI

Хотя предполагалось, что молодожены отправятся в трехнедельное путешествие, через десять дней после свадьбы они нежданно-негаданно вернулись в дом Пелуеров, взбудоражив весь городок. Тут же примчались Казенавы, не в силах дотерпеть до четверга. Они пытались по виду Ноэми определить, как обстоят дела, но лицо Ноэми было непроницаемо. Впрочем, ее родители вместе с кюре положили конец пересудам: по их словам, голубки предпочли уют домашнего очага суете гостиниц и вокзалов. Выходя после мессы из церкви, нарядно одетая Ноэми с улыбкой пожимала всем руки, смеялась, и все решили, что она счастлива. Слегка удивляло лишь ее каждодневное присутствие на обедне. Женщины заметили, что после причастия Ноэми долго не отнимала рук от осунувшегося печального лица. Ее удрученный вид кумушки истолковали по-своему, решив, что она забеременела. Прослышав об этом, прибыла тетка Фелисите, чтобы ненароком оценить, не тесновато ли ей стало платье. Но тайная беседа с Кадеттой — ей можно было верить, ведь

именно она стирала белье — успокоила ее. С этой минуты тетка сочла более дипломатичным держаться в стороне, не желая, как она выражалась, своим присутствием создавать впечатление, будто она одобряет состряпанный кюре чудовищный брак. Она готовилась вернуться на сцену при первых признаках надвигающейся грозы.

Тем временем господин Жером с удивлением обнаружил, что сноха печется о нем с самоотверженностью монашки. Она приносила лекарства в назначенный час, следила, чтобы ужин подавали в строгом соответствии с установленным распорядком дня, и мягко, но решительно пресекала все попытки нарушить тишину во время сиесты. Жан, как и прежде, уходил из дома и кружил по улочкам. Спрятавшись за сосной у просяного поля, он выслеживал сорок. Была бы его воля, он остановил бы время, чтобы вечер никогда не наступал, но темень опускалась быстро. Сосны, потревоженные ветром с Атлантики, затягивали под сурдинку жалобную песнь, принесенную с мимизанских и бискаросских песков. Над густыми папоротниками поднялись шалаши из вереска — в октябре жители ланд охотятся за дикими голубями. Рядом с фермами витал аромат ржаного хлеба. На заходе солнца Жан стрелял

последних жаворонков. Он подходил к городку, и его шаги замедлялись. Еще чуть-чуть... еще немного времени, прежде чем своим присутствием в доме он начнет терзать душу Ноэми.

Крадучись, он пересекает прихожую. Так и есть: Ноэми ждет его. Приветливо улыбаясь, она идет к нему с лампой в руке, подставляет лоб, пробует на вес охотничью сумку и, как положено супруге, радуется возвращению любимого мужа. Но роль свою она выдерживает лишь несколько минут, сама при этом не строя никаких иллюзий. Во время обеда господин Жером развлекает их своими разговорами: с тех пор как его недугами занялась молодая сиделка, он не устает рассказывать о своих ощущениях. Кроме всего прочего, Ноэми взяла на себя обузу общаться с арендаторами, поэтому ей приходится много расспрашивать о делах в поместье. Господин Жером удивлялся, что эта девочка, по сути, единственная в доме, кто в состоянии проверять отчеты управляющего и следить за продажей бревен. Кроме того, именно снохе господин Жером ставил в заслугу то, что со времени женитьбы сына он поправился на целых два килограмма.

Когда же, отобедав, господин Жером погружался в дремоту, опершись ногами о подставку камина,

супруги волей-неволей оставались наедине. Жан, стараясь не дышать, усаживался подальше от лампы и словно растворялся в темноте. Но как бы то ни было, он был здесь, и в десять Кадетта вносила подсвечники. Потом следовало тягостное восхождение в спальню. Осенний дождь шуршал по черепице, хлопал ставень, затихал вдали звук дребезжащей тележки. Преклонив колена рядом с внушающей страх кроватью, Ноэми вполголоса произносила слова молитвы: «Склоняясь пред Тобою, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне сердце, способное узнавать и любить Тебя». Жан угадывал в темноте, как в отвращении напрягается тело любимой, и отодвигался как можно дальше. Ноэми иногда дотрагивалась рукой до его лица, невидимого во мраке и потому менее отвратительного, и чувствовала на его щеках жаркие слезы. Испытывая угрызения совести и жалость, она, закрыв глаза и стиснув губы, бросалась к Жану, как христианская девственница — к зверю на арене цирка, и стискивала несчастного в объятиях.

VII

Охота на диких голубей служила Жану предлогом, чтобы проводить дни вдалеке от той, которую он изводил одним своим присутствием. По утрам он вставал еле слышно, чтобы не разбудить Ноэми. Когда она открывала глаза, двуколка уже увозила его далеко по грязной дороге. Жан распрягал коней у арендатора и, подходя к шалашу, прятался и свистел — боялся спугнуть голубей. Внук Кадетты кричал, что он может подойти, и они устраивались в засаде: долгие часы проводили они в тумане и дремоте под звон колокольчиков проходящего стада, под крики пастухов, вороний грай. После четырех пора было возвращаться, но чтобы явиться домой как можно позже, Жан заглядывал в церковь. Молитв он не произносил, но его сердце кровоточило. На глаза часто навертывались слезы. Ему представлялось, что его голова покоится на ее коленях. Потом Жан бросал на кухонный стол синевато-серых голубей с раздувшимися шеями. Башмаки Жана сушились у огня, теплый собачий язык лизал ему руку. Кадетта заливала бульоном

ломтики хлеба. Следом за нею Жан входил в гостиную. Ноэми встречала его словами: «А я и не знала, что вы уже вернулись... или «Руки мыть будете?» Тогда он шел к себе в комнату — ставни еще не были закрыты, фонарь освещал поливаемые дождем рытвины на дороге. Жан мыл руки, но вычистить застарелую грязь из-под ногтей не удавалось, и он прятал их под стол, чтобы не увидела Ноэми. Украдкой он наблюдал за ней: какая она бледная! Она почти ничего не ела. Жан неуклюже настаивал, чтобы она попробовала баранину. «Я же говорю, что не голодна!» Покорная улыбка, а иногда и сложенные для воздушного поцелуя губы смягчали минутное раздражение. Она глядела мужу в лицо, как верующая, отдавая Богу душу, глядит в лицо смерти. Улыбка вообще не сходила с ее уст, словно она хотела подбодрить лежащего на смертном одре. Это из-за него, из-за Жана, каменеет ее взгляд, из-за него у нее в лице ни кровинки. Рядом с ним иссякала ее молодая жизнь. Но, осунувшаяся, она была ему еще более дорога. Какую еще жертву так сильно любил палач?

Зато господин Жером совершенно расцвел. Всю жизнь для него существовали только его собственные страдания, чужих он не замечал. И

все буквально остолбенели, когда услышали из его собственных уст, что в последнее время он чувствует себя значительно лучше. Астма отпустила его. Он спал до самого рассвета без всяких снотворных. Хорошо, что он отказался лечиться у доктора Пьёшона, говорил господин Жером, ведь у того в доме лежит харкающий кровью сын. Из боязни заразиться господин Жером порвал со своим старым другом. Он клялся, что ему достаточно снохи, которая поднаторела в деле ухода за больными лучше всяких врачей. Взяла она на себя и заботу о его гардеробе. Самую пресную диету она умудрялась сделать вполне сносной. Лимонный и апельсиновый сок, иногда капелька старого арманьяка заменяли запрещенные специи, возвращали господину Жерому аппетит, который, если верить ему, он потерял еще пятнадцать лет назад. После нескольких робких попыток Ноэми подрядилась после обеда читать своему тестю вслух, чтобы пища лучше усваивалась. Она была неутомима и не прекращала читать, даже когда господин Жером начинал посапывать во сне.

Было час пополуночи — на час меньше оставалось содрогаться от отвращения во мраке супружеской спальни, следя за лежащим рядом неподвижным гадким телом и зная, что

Жан из жалости к ней притворяется спящим. Иногда он нечаянно задевал ее ногой, и Ноэми, проснувшись, прижималась к стене. Иногда она вздрагивала от неожиданной ласки: это Жан отваживался украдкой погладить ее, думая, что она спит. Теперь уже была очередь Ноэми притворяться спящей, ибо она всякий раз опасалась, что он на этом не остановится.

VIII

У них никогда не было препирательств, которые подчас разобщают любящих. Они знали, что слишком уязвимы, чтобы наносить удары другому, — малейшая обида растравила бы рану, сделала бы ее неизлечимой. Каждый старался не делать другому больно. Все их движения были строго рассчитаны, чтобы не вызывать новых страданий. Жан отворачивался, когда Ноэми раздевалась, и никогда не входил в ванную, если она мылась. Он приучил себя к особой чистоте и, дрожа от холода, обливался в лохани специально привезенной из Любина водой. Единственным виновником случившегося Жан считал себя, Ноэми же ненавидела себя за то, что, по сути дела, не стала для Жана настоящей женой. Ни разу они не обменялись ни единым упреком, даже немым, — наоборот, взглядами они как бы просили друг у друга прощения. С некоторых пор они решили молиться вместе. Враги по плоти, они соединяли свои голоса в вечерних молениях, соединяя их в бесконечности, хотя здесь, на земле, живя бок о бок, Жан с Ноэми были каждый сам по себе.

Как-то утром, не сговариваясь, они встретились у изголовья одного немощного старика. Жадно схватившись за эту новую связующую их нить, они с тех пор раз в неделю делали обход больных, причем каждый приписывал эту заслугу другому. В остальное время Ноэми избегала Жана, точнее, ее тело избегало тела Жана. Тщетно пыталась она перебороть чувство гадливости.

Однажды хмурым ноябрьским днем Ноэми, которая терпеть не могла пешие прогулки, заставила себя отправиться с мужем в ланды до самого рубежа пустынных болот, где царит тишина, какая бывает накануне бури, и где слышно лишь, как глухо накатываются на песок волны океана. Голубые цветы горечавки уже не оживляли пейзаж. Ноэми быстро шла впереди, словно спасаясь бегством. Жан следовал за ней поодаль. Несколько веков назад предки Жана Пелуера, пасшие на этой пустоши скот, вырыли здесь для своих стад колодец. У этого топкого места Ноэми остановилась подождать мужа. Тот между тем задумался о пастухах былых времен, которых поражала загадочная болезнь, бушевавшая в ландах, — пеллагра. Их останки до сих пор можно было увидеть на дне колодца или в илистом грунте лагуны. Ах, он и сам хотел бы обнять эту скудную землю,

вылепившую его по своему подобию, — и пусть она запечатает ему уста последним поцелуем!

IX

Часто от чтения отвлекал приход кюре. Он называл Ноэми «дитя мое», выпивал стаканчик ореховой настойки; однако казалось, он не мог уже, как прежде, вести с господином Жеромом богословские споры или развлекать его забавными историями из жизни духовенства. Перед этим судьей все напяливали на себя маску. Глаза теряли всякое выражение, каждый знал, что за ним зорко следят. Кюре больше не вел разговоров на разные темы, все, что он говорил, явно имело какую-то скрытую цель. Он протягивал к огню короткие распухшие ноги и украдкой бросал быстрый взгляд на хранивших молчание супругов. Не столь категоричный, не столь уверенный в себе, он больше не рассказывал о своих спорах с тем или иным рационально мыслящим оппонентом, как делал это прежде, когда перемежал свой рассказ фразами типа: «Тут-то я и загнал его в угол...» Господин Жером уверял, что видел кюре таким озабоченным лишь однажды, когда прежнему мэру взбрело в голову звонить в колокол на гражданских похоронах и прибрать к рукам

церковный катафалк. Кюре хотел, чтобы Жан вернулся к краеведческой работе, к которой он приступил с таким рвением, но которую год назад бросил, заявив, что ему не хватает нужных документов. По правде говоря, он никогда ничего не мог довести до конца: быстро охладевал. Первые страницы своих книг он, как правило, испещрял заметками, последние же оставлял неразрезанными. Размышлять, подыскивать нужные слова он мог лишь во время прогулок — за столом не получалось. Как-то вечером, когда господин Жером удалился к себе, кюре вновь затронул эту тему. Жан ответил, что продвинуться в своей работе он сможет, лишь проштудировав специальные труды, которые хранятся в Национальной библиотеке, — не отправляться же ему за этим в Париж? «Почему бы и нет?» — перебирая бахрому своего пояса, тихо спросил кюре. Взгляд его был устремлен на огонь. Слабый голосок прошептал:

— Я не хочу, чтобы Жан уезжал.

— Грех зарывать талант в землю, — возразил кюре. — Если человек не в состоянии довести до конца свое исследование, да и вообще какую бы то ни было работу, от него не будет никакого толка.

Священник принялся развивать свою мысль

Печальный голос как бы через силу произнес: «Если Жан поедет, я поеду с ним». Кюре покачал головой: ее дорогой свекр не сумеет без нее обойтись. Да и потом, разлука будет недолгой — несколько недель, месяцев... Ноэми не знала, что сказать. Воцарилось молчание. Прошло немало времени, прежде чем кюре надел свое пальто на вате, обул башмаки. Жан закутался в плащ, зажег фонарь. Кюре последовал за ним к выходу.

Декабрь стоял дождливый, дни стали короче, и супругам уже не удавалось избегать друг друга. Порой, правда, Жан отправлялся охотиться на вальдшнепов, но и тогда нужно было возвращаться к четырем, до сумерек. Единственный источник света — лампа — словно приближала их враждующие тела друг к другу. За окном усыпляюще шуршал дождь. У господина Жерома каждую зиму ныло левое плечо, и он без конца жаловался. Ноэми постепенно осваивалась. Она взяла себе за правило что ни день отговаривать Жана от путешествия в Париж. Она обещала Богу сделать все возможное, чтобы Жан остался с ней. Ежедневные мольбы не давали бедолаге пребывать по своему обыкновению в нерешительности и не удерживали его, а, наоборот, заставляли принять решение. Он смотрел на жену жалким

взглядом и говорил: «Мне надо уехать, Ноэми». Ноэми бурно протестовала, но, стоило Жану показать, что он колеблется, она не пыталась развить свой успех и тут же прекращала разговор. Господин Жером хотя и цитировал охотно «Двух голубков»: «Тягчайшее из зол — разлука», втайне предвкушал, как он будет жить вдвоем со снохой. И, наконец, кюре при каждом удобном случае подстегивал Жана. Как мог несчастный противостоять их нажиму? Впрочем, он и сам в глубине души смирился с необходимостью отъезда. Если не считать паломничества в Лурд и ночей любви, проведенных в Аркашоне, он никогда не покидал своего захолустья. В полном одиночестве окунуться в шумную парижскую жизнь... для Жана это было все равно что навсегда сгинуть в глубинах океана, с той лишь разницей, что человеческий океан намного страшнее Атлантического. Но все подталкивали его к краю пропасти. В конце концов отъезд был назначен на вторую неделю февраля.

Ноэми загодя занялась его чемоданом и бельем. Жан еще не уехал, а Ноэми уже повеселела: к ней вернулся аппетит, разрумянились щеки. Как-то раз Жан даже увидел в окно первого этажа, как Ноэми бросает снежки во внука Кадетты. Он ясно

отдавал себе отчет, чем объясняется это внезапное возрождение. Освобождаясь от мужа, Ноэми воскресала к новой жизни, как природа весной. Жану надо было покинуть свою супругу, чтобы та могла вновь расцвести.

Опустив замызганное окно в вагоне, Жан Пелуер не сводил глаз с платка, которым махала Ноэми. Как он развевался — символ радости и прощания! В последнюю неделю Ноэми окружила его деланой лаской и заботой, да так, что однажды ночью, чувствуя рядом ее жаркое дыхание, он прошептал: «Может, мне не ехать?» И хотя было темно и у нее в ответ вырвался лишь сдавленный крик, он, угадав ее страх, ужас, постарался тут же успокоить Ноэми: «Да нет, пожалуй, поеду». Это было единственный раз, когда Жан показал, что видит ее насквозь. Ноэми отвернулась к стене, и Жан услышал, как она плачет.

Жан Пелуер смотрел, как мелькают в окне поезда знакомые сосны. Он даже узнал чащу, где промахнулся, стреляя в вальдшнепа. Железнодорожное полотно тянулось вдоль дороги, по которой он так часто ездил на своей двуколке. Вот на краю пустоши в тумане дымки прячется ферма, к ней жмутся небольшая пекарня, хлев, колодец — Жан знал ее название, знал владельца.

Потом уже другой поезд вез Жана через ланды, где ему еще не приходилось охотиться. В Лангоне он попрощался с последними соснами, словно с друзьями, которые проводили его докуда могли и теперь на прощание благословляли его простертыми ветвями.

X

Жан поселился на набережной Вольтера, в первой же гостинице. По утрам Жан смотрел, как идет дождь над Сеной, которую он еще не дерзнул пересечь, а в полдень отправлялся в кафе на Орлеанском вокзале, где клевал носом под шум поездов, уносивших счастливых путешественников на юго-запад. Поев, Жан не осмеливался сидеть просто так и заказывал бутылку белого вина, потом две рюмки ликера, и его стремительный ум уносился в нескончаемую даль. Судорожные движения, бессвязная речь Жана порой вызывали усмешку у соседей и официантов, но чаще всего Жана, забившегося между дверным тамбуром и колонной, просто не замечали. Жан читал газеты от корки до корки, вплоть до рекламы: убийства, самоубийства, сцены ревности, безумия — он проглатывал все, что свидетельствовало о непреходящем зле. После обеда билет за два су давал Жану доступ на перрон, где он искал вагон с надписью «Ирун» — вагон, чьи широкие окна на следующий день будут отражать песчаное однообразие ланд. Жан

подсчитал, что поезд пройдет в восьмидесяти километрах от его родного дома. Он дотрагивался до стенки вагона, и когда состав трогался, у Жана был такой вид, будто вместе с поездом отправлялась часть его души.

В кафе, куда он возвращался, играл оркестр, и Жан с тоской осознавал, какую неодолимую власть имеет над ним музыка. Она неизменно порождала в его душе образ Ноэми. Жан мысленно окидывал взглядом тело жены, которое мог созерцать лишь во время ее сна. В сентябрьские ночи, когда лунный свет струился на кровать, незадачливый фавн мог лучше узнать это тело, чем если бы соединялся с ним в пылу обоюдной страсти. В объятиях он сжимал только труп, глаза же его проникали в глубь ее естества. Может быть, лучше всего мы знаем женщину, которая никогда нас не любила.

В этот самый час Ноэми спала в просторной холодной комнате. Освободившись от постылого мужа, она была счастлива, нежась на своем одиноком ложе. Через много километров Жан чувствовал, как любимая радуется его отсутствию. Закрыв лицо ладонями, Жан мысленно давал волю своему гневу: он вернется домой, навяжет этой женщине свою волю, овладеет

ею, а там хоть трава не расти! Он превратит ее в вещь, которую будет использовать по своему усмотрению. И Ноэми вставала перед его взором — безмолвная, покорная, с нежной тяжелой грудью, — словно дерево, протягивающее ветви с плодами. Он вспоминал, как она говорила, что умрет от отвращения, не издав даже крика.

Жан оплачивал счет, возвращался по набережной в отель и, раздевшись в темноте, чтобы не видеть себя в зеркале, ложился спать.

Раз в три дня ему с чашкой шоколада приносили конверт, который он иногда не вскрывал до вечера. Что за охота читать притворные просьбы о скором возвращении! Единственной радостью для Жана было думать, что рука Ноэми касалась этого листка бумаги, что ногтем мизинца она прочеркивала невидимую линию... Но в конце марта Жану показалось, что в письмах стала проскальзывать искренность: «*Я убеждена, вы не верите, что я хочу снова вас видеть. Но вы плохо знаете свою жену*». «*Мне скучно без тебя*», — написала она в другом месте. Жан скомкал письмо и перечитал другое — от отца, пришедшее с той же почтой: «*Не поверишь, но Ноэми изменилась в лучшую сторону: пополнела, выглядит великолепно, она меня так холит и лелеет, что я даже*

забываю ее поблагодарить. Казенавы не появляются, но я знаю, они вбили себе в голову, будто вы с Ноэми повздорили. Пусть думают, что хотят. Я набираюсь сил, не то что Пьёшон-младший, который уже из дома не выходит, только на машине ездит. Видно, что не жилец, хотя врач из Б. утверждает, будто с помощью йодной настойки поставит его на ноги. Да, молодые уходят, а старики остаются...»

Когда наступили первые ясные деньки, Жан Пелуер рискнул перейти по мосту через Сену. В золотых лучах заходящего солнца он глядел в воду, и его руки касались теплого парапета, гладили его, словно живое существо. Вдруг сзади раздался шепот: «Эй, парень, пойдем-ка со мной». Рядом, откуда ни возьмись, возникло молодое женское лицо, бледное, несмотря на толстый слой румян. Распухшие пальцы с коротко подстриженными ногтями потянулись к его руке. Жан бросился бежать и перевел дух только у билетных касс Лувра. Он не посмел откликнуться даже на зов простой девки? Другой женщины, не Ноэми? В первый раз ему захотелось вдруг обзавестись любовницей, пусть она не будет от него в восторге, лишь бы он не внушал ей отвращение. Но и столь жалкое счастье оставалось для него

несбыточным. С горечью осознав свое ничтожество, Жан вновь почувствовал приступ ярости. Почему он отказал этой женщине, обещавшей снисхождение и покорность? Разве такие, как он, не вправе претендовать даже на ласки уличных женщин? В воде затрепетало вечернее небо. Жан так размахивал руками, что набежала толпа детей. Ссутулившись, он снова пустился бежать, обогнул площадь и выскочил на улицу Руаяль. Было время ужина, и Жан, набравшись храбрости, переступил порог знаменитого кабаре.

Жан забился в угол, сев лицом к бару, похожему на кормушку из красного дерева, к которой слетаются разноцветные попугайчики. У него отлегло от сердца, когда он увидел, что всем тут наплевать, как он выглядит. И здешним бабенкам, и официантам в черном — этаким жирным крысам, подвизающимся в дорогих ресторанах. Эта ярко освещенная кишка привлекала слишком много дикарей из Америки, фермеров и провинциальных нотариусов, чтобы кому-нибудь пришло в голову поднимать на смех Жана Пелуера. Слегка разрумянившись от бутылки «Вовре», Жан улыбнулся, глядя на толпу у стойки. Дебелая блондинка сползла с табурета, подошла, попросила у Жана прикурить, сделала глоток из

его стакана и посулив осчастливить его всего за пять луидоров, в ожидании ответа вновь забралась на свой насест. Старик за соседним столиком посоветовал ему дождаться закрытия заведения, тогда «оставшиеся девицы скостят цену». Однако Жан Пелуер, оплатив счет, согласился на предложение блондинки. Та вышла вместе с ним. Они поймали такси, доехали до улицы Мадлен. Гостиничная лестница начиналась прямо на тротуаре — никакого вестибюля не было, — наверное, чтобы удобнее было вдыхать вонь с улицы.

Шпилька упала на мраморный столик, и Жан словно очнулся. Он бросил взгляд на непомерно большие ручищи своей дамы, на розовые ленточки, украшавшие ее трясущееся тело. Назвав Жана «своим зайчиком», она осторожно стянула с себя шелковые чулки. Даже когда плоть Ноэми кричала ему «нет», Жану не было так больно, как сейчас, от этой поспешной готовности отдаться, от этой безропотности, полного отсутствия брезгливости. Разинув рот, девица смотрела, как Жан бросил на стол банкноту. Прежде чем она успела опомниться, его и след простыл. Он несся по улице, словно за ним гнались. В сутолоке бульваров он неожиданно испытал облегчение, как будто чудом избежал ловушки. Его потянуло к сбро-

сившим листву каштанам Елисейских Полей. С трудом переведя дух, откашливаясь, Жан уселся на пустовавшую скамейку. Он подумал вдруг, что серп луны над его головой, затмевавший фонари, струит свое мерное сияние на верхушки деревьев на всем пространстве от Пиренеев до океана. На сердце полегчало: Жан был рад, что при всем своем убожестве не запятнал своей чистоты. Наступит когда-нибудь незакатный день, когда Ноэми и Жан узнают взаимную любовь. Жан как бы заранее предвкушал будущее согласие их преображенных тел. О свет, к которому будет призвана их бессмертная, нетленная плоть. «Нет никаких господ, мы все рождаемся рабами, и только ты, Боже, отпускаешь нас на волю!» — воскликнул Жан. Подошедший полицейский окинул Жана подозрительным взглядом и, пожав плечами, удалился.

Каждый день после двенадцати Жан устраивался на террасе кафе «Де ля Пэ», мимо которого двигался нескончаемый поток печальных лиц. Тайные болезни, алкоголь, наркотики делали однообразно уродливой тысячеликую толпу. Жану любопытно было наблюдать, как мужчины рыщут в поисках проституток, он пытался угадать, сколько их тут и какой порок толкает вот этого, к

примеру, господина в монокле и с обвислой губой в объятия уличных девок. Жан Пелуер жадно выискивал в толпе хотя бы кого-нибудь одного с печатью власти и господства на лице. О, он бы с радостью последовал за этим человеком! Но глаза людей блуждали по сторонам, руки дрожали, непомерная похоть искажала лица — людям в толпе было невдомек, что за ними наблюдают. Да и потом, разве эти, из расы господ, — разве они не знают смерти? Сидя за столиком, Жан жестикулировал, как у себя в городке, когда шел по улице между двух высоких оград. Он цитировал вслух Паскаля[10], его слова о том, чем кончается самая прекрасная жизнь. Смерть всех кладет на лопатки, что бы там ни вещал этот маразматик Ницше!

Молодые люди рядом с Жаном подталкивали друг друга локтями. Сидевшая с ними женщина окликнула Жана. Тот вздрогнул, швырнул на стол деньги и пустился наутек. «Вот полоумный!» — бросила ему вслед женщина. Но Жан

---

[10] Примечания: 10

Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. В своих литературных работах полемизировал с иезуитами, развивал представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве.

уже смешался с толпой, он, словно крыса, несся мимо витрин, в голове же у него тем временем рождался план дерзкого исследования, которое он озаглавит «Воля к власти и святость».

Иногда в витрине магазина мелькало его отражение, но Жан не узнавал себя. От плохого питания он осунулся и словно усох. Парижская пыль раздражала горло. Нужно было отказаться от сигарет. Он никогда раньше столько не дымил и в результате без конца сплевывал и кашлял. Часто кружилась голова, приходилось хвататься за фонари, чтобы не упасть. Лучше совсем не есть, решил Жан, чем после еды мучиться от колик в желудке. Может, в один прекрасный день его подберут в луже, как дохлую кошку? Тогда Ноэми станет свободной... Такие мысли посещали его в кинотеатре, куда он забредал, привлеченный не столько самим фильмом, сколько нескончаемой музыкой. Часто, в горячке валясь с ног от усталости, он заходил в баню. Ситцевая занавеска загораживала свет, из кранов капало, и тело было словно чужое. Столь убогим местом пребывания Жану приходилось довольствоваться лишь потому, что, кроме Мадлен, стоявшей на пути из гостиницы в кафе «Де ля Пэ», он долго не знал в Париже ни одной церкви. Но как-то раз, выбрав

другой маршрут, Жан увидел Сен-Рош, и с тех пор эта сумрачная церковь стала для него ежедневным пристанищем. Здесь, в храме на перекрестке улиц огромного города, пахло так же, как в родной церквушке в его богом забытой дыре. Порога библиотеки он так ни разу и не переступил.

Так, пожалуй, он и жил бы тут до самой смерти, если бы однажды кюре в своем письме самым настоятельным образом не призвал его вернуться под отчий кров, хотя, как понял Жан, ни с отцом, ни с Ноэми ничего плохого не стряслось. С тяжелым сердцем Жан сел в вагон с надписью «Ирун», в экспресс, который столь часто на его глазах медленно отходил от перрона, чтобы потом, набрав скорость, направиться на юго-запад.

XI

Дома все было по-старому, письмо же к Жану кюре написал после исповеди Ноэми, на которой та призналась лишь в самых обычных, простительных прегрешениях. Однако она обратилась к своему наставнику за духовной поддержкой в смущавших ее искушениях, хотя о том, какого рода эти искушения, она не распространялась.

Отъезд Жана поначалу отозвался в Ноэми благодатной усталостью, какая бывает при выздоровлении. Одиночество приносило ей неизбывное наслаждение. Она жила расслабившись, в свое удовольствие. Неспособная разобраться в собственных чувствах, Ноэми все же понимала, что изменилась, и несмотря на то, что вела по-прежнему жизнь молодой девушки, ею, по сути, уже не была. Отвращение препятствовало рождению в ней женщины, но та, расцветая сама собой, таинственным образом заявляла о своих правах. Ноэми с тревогой отмечала, что прежнего покоя в ее душе нет, что ее дремлющее сердце не в ладах с пробудившейся плотью. Ее существо словно разрывалось, тело не желало забывать

того, что с ним приключилось.

Единственным чтением молодой женщины был молитвенник, людей же она сторонилась, так как, несмотря на бедность, была благородного происхождения, поэтому ни романы, ни близкие друзья не могли просветить ее по поводу того, что совершалось в ней самой. Но тут провидению угодно было послать ей нового знакомого.

Стоял март, солнечные блики играли в лужах на площади. Жером Пелуер почивал после обеда, весь дом замер в ожидании, не скрипнула ни одна половица. Подобно всем женщинам в городке, Ноэми много шила. Вот и в этот раз она сидела со своим шитьем на первом этаже у окна с полураскрытыми ставнями. На столе перед ней лежало белье, требовавшее починки. Вдруг до нее донесся шум колес, и она увидела, как в нескольких шагах от окна остановилась двуколка. Молодой человек с поводьями в руках оглядывался по сторонам, ища, кого спросить, однако на улице не было ни души. Когда Ноэми из любопытства открыла пошире ставни, незнакомец повернул голову и, сняв шляпу, спросил, где живет доктор Пьёшон. Ноэми ответила, мужчина поблагодарил и, тронув хлыстом круп лошади, двинулся с места. Ноэми вернулась к шитью и весь день ра-

ботала иглой, особо и не думая о незнакомце, но его лицо то и дело само всплывало перед глазами. На следующий день в тот же час он снова проехал мимо ее окон, но на этот раз не остановился. Однако перед домом Пелуеров он попридержал лошадь, поглядел на закрытые ставни дома Ноэми и на всякий случай поклонился. За ужином господин Жером рассказал со слов кюре, что Пьёшону-младшему становится все хуже и хуже, и его отец послал за молодым врачом из супрефектуры, о методах лечения которого очень хорошо отзывались: он заставлял больных туберкулезом принимать большие дозы йодной настойки — по несколько сотен капель, разбавленных водой. Господин Жером сомневался, сможет ли желудок больного выдержать такое количество йода. Молодой доктор приезжал каждый день, и каждый день его экипаж замедлял ход у дома Пелуеров, однако Ноэми ставни не открывала. Заметив в окне неясную тень, — самой молодой женщины он не видел, — доктор каждый раз кланялся.

В городе с интересом следили за лечением — все больные туберкулезом в кантоне глотали йодную настойку. Утверждали, что дела Пьёшона-младшего пошли на поправку.

Весна в этом году была ранняя, конец марта

стоял теплый, и люди постепенно оживали. Как-то перед сном Ноэми разделась у открытого окна. Счастливая и печальная, она облокотилась на подоконник, спать не хотелось. Из вечернего мрака в результате какого-то таинственного сцепления мыслей выплыло столь поразившее ее лицо молодого человека, и Ноэми впервые сознательно задержала на нем свой мысленный взор. Коль скоро молодой человек каждый раз приветствует ее, не зная даже, видит она его или нет, не приличнее ли было бы завтра раздвинуть ставни и ответить на приветствие? Решив так именно и сделать, Ноэми неожиданно испытала такой прилив нежности, что совсем забыла о сне. Его образ становился все отчетливее: черные вьющиеся волосы — она обратила на них внимание, когда незнакомец приподнимал шляпу, плотные красные губы, короткая бородка, спортивный костюм, в кармане которого сверкала авторучка, мягкая тюсоровая рубашка с открытым воротом — галстук доктор не носил.

Жившая чувствами, Ноэми была приучена прислушиваться к голосу своей совести, и потому она сразу насторожилась. Первый тревожный звонок прозвучал, когда она молилась. Каждую молитву приходилось начинать заново: между

Богом и ней улыбалось смуглое лицо молодого человека. Это лицо преследовало Ноэми и когда она легла, и проснувшись, еще под впечатлением сна, она первым долгом подумала, что скоро его увидит. На утренней мессе она сидела, уткнувшись лицом в ладони. Когда во время сиесты экипаж замедлил ход перед домом Пелуеров, все ставни первого этажа были наглухо закрыты.

Именно в эти дни добровольный парижский изгнанник стал получать столь удивлявшие его письма, где Ноэми говорила: «Я скучаю по тебе...» Ноэми теперь сидела в темной комнате и ждала, когда проедет экипаж. Только после этого она приоткрывала ставни и возвращалась к работе. Но как-то раз ей вдруг подумалось, что излишняя щепетильность тоже грех. «Вбила себе в голову...» Ноэми решила раз и навсегда: она выглянет на улицу и ответит на приветствие доктора. Вот ей почудился стук колес, и рука потянулась к оконной задвижке, но нет... В этот день впервые за последние две недели врач не приехал.

В час, когда господин Жером принимал валерьянку, Ноэми поднялась к свекру и, не удержавшись, поведала тому, что молодого доктора сегодня у Пьёшонов не было. Оказалось, что господин Жером и сам это знал: у Пьёшона-млад-

шего случился рецидив, он перестал переносить йод. Если верить доктору, его без конца рвало кровью. Весна для туберкулезников время опасное. Ходили упорные слухи, что доктор Пьёшон высказал своему коллеге немало резких слов, и тот больше не осмеливался появляться в городке. Ноэми обсудила дела с пришедшим арендатором, потом помогла Кадетте сложить выстиранное белье. В шесть отправилась в церковь, оттуда, как обычно, к родителям. После ужина, сославшись на головную боль, уединилась у себя в комнате.

Теперь она вела более деятельную жизнь, события последних дней принесли свои плоды. Одевшись по-праздничному, она посетила знакомых дам — в городке было заведено раз в год церемонно обмениваться визитами. Побывала Ноэми и у арендаторов. Ей нравилось колесить по разбитым лесным дорогам. Лошадью правил внук Кадетты. Заросли сухого папоротника расцвечивались желтыми пятнами утесника. На дубах трепетали старые листья, до поры до времени противясь горячему дыханию южного ветра. Чистое круглое зеркало лагуны отражало вершины и вытянутые стволы сосен, небесную лазурь. На соснах, росших в несметном количестве, через свежие раны проступала смола, распространяя

благоухание по всей округе. Куковали кукушки, напоминая о прежних веснах. На ухабах коляска подпрыгивала, внука Кадетты бросало к Ноэми, и молодые люди смеялись как дети. На следующий день Ноэми пожаловалась на усталость и попросила управляющего объехать оставшихся арендаторов. После этого Ноэми вплоть до дня приезда ее мужа видели только на мессе.

XII

Она ждала его на вокзале. Ее платье из органди сверкало на солнце. На руках у нее были нитяные перчатки без пальцев, на голой шее — медальон с двумя амурами, боровшимися с козлом. Дети играли, пытаясь удержать равновесие на рельсе. Издали донесся свисток паровоза, хотя самого поезда еще не было видно. Ноэми очень хотелось бы объяснить самой себе свое волнение радостным ожиданием. Разлука смягчила в ее памяти черты Жана, она воссоздала образ мужа приукрашенным, таким, что он уже не внушал отвращения. Сердцем Ноэми стремилась его полюбить и теперь сгорала от нетерпения обнять выдуманного ею Жана. Видит Бог, хотя в ее расцветшем нежном теле пробудилось желание, лелеявшее вопреки ее воле иные образы, Ноэми не поддавалась нечистым мыслям. Она не сомневалась, что за это сподобится увидеть сходящего с поезда мужа совсем не таким, каким она его, втайне радуясь, провожала.

Жан стоял на подножке вагона второго класса. Его и впрямь нельзя было узнать. Ослабевшими

руками он еле держал чемодан, который проворно подхватил внук Кадетты. Жан с трудом заковылял, вцепившись в жену. «Жан, дорогой, тебе нездоровится?»

Жан тоже не узнавал жену: разлука с ним явно пошла ей на пользу — яркая, цветущая женщина. Контраст между этой прекрасной женской особью и тщедушной особью мужского пола стал еще более разительным, чем был тогда, в гостиной кюре. Люди кругом шептались. Жану было стыдно перед продавщицей газет, перед начальником станции, перед почтальоном. «Мне надо было прислать за тобой коляску. Почему ты не написал, что заболел?» Ноэми постелила постель, вымыла Жану лицо и руки, накрыла ночной столик белой скатертью и положила скопившиеся, пока муж отсутствовал, журналы, ни разу даже не открытые. Жан, за которым ухаживали, как за малым ребенком, следил за Ноэми проницательным взглядом.

Господин Жером воспротивился тому, чтобы позвать доктора Пьёшона: этот добрейший человек не в силах был вынести мысль, что в доме может болеть кто-то, кроме него самого. Стоило Жану лечь в постель, как он улегся тоже, заявив, что совсем расхворался, и грубо отослал Кадетту,

когда она пришла спросить, не нужно ли ему чего. Ноэми поднялась к нему, но не чтобы справиться о его самочувствии, а за его согласием на приход доктора. Господин Жером и слушать не желал об этом, ведь Пьёшон не отходил от постели своего начиненного микробами сына. Если ей так уж приспичило пригласить эскулапа, пусть пошлет за «этим юношей с йодной настойкой». Отвернувшись, Ноэми возразила, что молодой человек не внушает ей доверия, да и потом, разве он не лечит всех туберкулезников в околотке? Господин Жером высокомерно перебил ее: это, мол, его последнее слово, и пусть ему больше не докучают. Как обычно в дни несчастий, он уткнулся носом в стену и время от времени издавал жуткие стоны: «О, Господи, Господи!», которые в детстве будили Жана в безмолвии ночи.

Когда Ноэми вернулась в комнату, горничная ставила складную кровать. На подушке возвышалась голова Жана — красные, воспаленные глаза, щеки с нездоровым румянцем, заостренный нос. При виде Ноэми Жан пробормотал, что в большой кровати ему холодно, что он всегда предпочитал спать на узкой, и потом, пока его не осмотрел врач, ему лучше спать отдельно. Ноэми запротестовала было, сделала вид, что огорчена,

но нужных слов не нашла, только дотронулась губами до влажного лба Жана. Тот, однако, отвернулся, не в силах вынести всю оскорбительность этого благодарного поцелуя.

День прошел в спокойствии и печали. Жан дремал в своем углу, пробудило его позвякивание ложечки о блюдце. Хотя он был вовсе не так уж болен, Ноэми поддерживала его, пока он пил. Пил же он нарочно медленно, чтобы как можно дольше чувствовать прикосновение ее теплой руки.

Опустились сумерки. Прозвонил церковный колокол. Во дворе внук Кадетты с гиканьем запрягал лошадь. Отворилась дверь, на пороге появился господин Жером в домашних туфлях на босу ногу и в испачканном лекарствами халате. Ему стало стыдно, что он так раздражился, он пришел попросить прощения. Сделав вид, что очень обеспокоен здоровьем сына, господин Жером сказал, что ждать больше нельзя и что он послал внука Кадетты за «молодым доктором с йодной настойкой». Жан запротестовал: он просто переутомился, несколько дней отдыха — и он будет как огурчик, доктор будет недоволен, что его побеспокоили из-за такого пустяка.

Сидя в темноте, Ноэми молча вслушивалась в удаляющийся стук колес и тихо, безутешно

плакала. Ливень с градом хлестал по стеклам, приближая приход ночи, но ни Ноэми, ни Жан не просили принести лампу. Наконец Кадетта сама пришла с лампой и накрыла на стол рядом с кроватью Жана. Во время еды Ноэми спросила, закончил ли он свое историческое исследование. Жан покачал головой, и Ноэми не стала больше задавать вопросов. Тут они снова услышали коляску.

— Вот и доктор, — проговорил Жан. Ноэми встала и отошла подальше от света. Как буря, надвигался на нее шум голосов, звук шагов на лестнице. Кадетта открыла дверь, и появился он. Ноэми не думала, что он такой рослый — красавчик, что и говорить! Смуглый брюнет, с удлиненным разрезом глаз, как у андалузского мула. Он без всякого стеснения посмотрел в глаза Ноэми, медленно окинул взором ее фигуру. И он, он тоже думал о ней! Ноэми дрожала, не решаясь выйти из тени. Но вот он обратился к больному:

— Расстегните, пожалуйста, рубашку. Не найдется ли у вас платок, мадам? Итак, тридцать один, тридцать два, тридцать три...

Лампа осветила ключицы, лопатки, бока Жана — все жалкое его хозяйство... Нет, состояние господина Пелуера опасения не вызывает, но надо

соблюдать режим. Он прописал укрепляющее, уколы какодилата. Время от времени доктор косился на Ноэми. Неужели он думает, что она нарочно так подстроила, чтобы он приехал? Получается, что она заставила врача отмахать шесть километров в коляске только для того, чтобы осмотреть переутомившегося супруга. Доктор все не уходил, его низкий голос не замолкал: он, мол, никогда не утверждал, что с помощью йодной микстуры может вылечить туберкулез на такой запущенной стадии, как у Пьёшона-младшего. Тягучие интонации деревенского жителя придавали его голосу мужественность. Ноэми чувствовала на себе его взгляд исподлобья, но он видел лишь безмолвную тень. Он заявил, что профилактика — важная вещь, тем более что господин Пелуер — благоприятное поле деятельности для всевозможных микробов, «и прежде всего для туберкулезных палочек».

— Кажется, ваша мать скончалась от чахотки?

Ему бы о любви говорить, а не о чахотке!

— За больным надо наблюдать, — продолжил доктор. Он явно напрашивался на повторное приглашение, а так как Ноэми молчала, он обратился непосредственно к больному, не желает ли тот, чтобы он посещал его и дальше — можно было

бы, к примеру, поделать уколы.

— А ты как думаешь, Ноэми?

Та не ответила, и Жан, решив, что она не расслышала, повторил:

— Как ты считаешь, Ноэми, нужно мсье приходить еще?

— Нет никакого смысла, — ответила наконец Ноэми. Сказано это было таким тоном, что Жан из опасения, как бы доктор не обиделся, пробормотал, что «последнее слово в таких случаях остается за врачом». Ничуть не смутившись, здоровяк доктор обещал явиться по первому зову. Ноэми с лампой пошла проводить его до порога. Спускалась она быстро, чувствуя затылком горячее дыхание молодого человека. Коляска стояла у двери. Ноэми так и не удостоила доктора взглядом. Внук Кадетты цокнул языком. Фонарь освещал круп лошади. Ночной ветер погасил лампу, которую Ноэми держала в высоко поднятой руке, и молодая женщина осталась стоять в темноте, на пороге безмолвного дома, слушая, как затихает вдали стук колес.

Ночью она не сомкнула глаз. Жан ворочался на складной кровати, бормоча что-то непонятное. Ноэми встала поправить мужу одеяло, осторожно, чтобы не разбудить, положила ему на лоб

руку, как положила бы ребенку, которому не суждено будет родиться.

XIII

Уже через день Жан Пелуер вернулся к привычному образу жизни. Пока отец по своему обыкновению отдыхал после полудня, Жан, крадучись, выходил из дома охотиться на сорок и, заглянув на обратном пути в церковь, как можно позже возвращался под родной кров. Ноэми уже не могла похвастать свежим цветом лица. Заметны стали круги у нее под глазами, смотревшими на мужа нежно и кротко. Жан надеялся, что, отказавшись от супружеского ложа, он уже не будет ей неприятен, но отчаянная борьба с отвращением к мужу лишала Ноэми последних сил. Несколько раз она звала Жана к себе, но тот притворялся, что спит. Тогда она поднималась с постели, подходила, целовала его — в давние годы такими поцелуями святые одаривали прокаженных. Бог его знает, радовались ли сами прокаженные, ощущая на своих язвах их дыхание? Но Жан отстранялся первый. «Оставь меня», — слетало с его губ.

Высокие садовые ограды были обсажены сиренью. В сумерках плыл запах жасмина. При свете

догорающего дня жужжали майские жуки. На вечерней службе, посвященной Деве Марии, после литании кюре говорил прихожанам: «Вашим молитвам препоручается судьба нескольких молодых людей, сдающих экзамены, нескольких выходящих замуж девушек, обращение грешного отца семейства, здоровье молодого человека, чьей жизни угрожает опасность». Все знали, что дела Пьёшона-младшего совсем плохи.

В июне зацвели лилии. Ноэми удивлялась, что Жан, уходя из дома, больше не берет с собой ружье. Он отвечал, что сороки хорошо изучили его повадки и стали теперь такие умные, что близко его к себе не подпускают. Ноэми боялась, что прогулки отнимают у Жана слишком много сил. Если прежде он возвращался оживленный, раскрасневшийся, то теперь она видела его подавленным, без кровинки в лице. Жан утверждал, что всему виной жара. Как-то ночью Ноэми услышала, что Жан несколько раз закашлялся, и тихо его окликнула:

— Ты спишь?

Он ответил, что у него немного першит в горле, ничего страшного, но Ноэми чувствовала, с каким усилием он сдерживает готовый вот-вот разразиться кашель. Ноэми зажгла свечу и увидела,

что Жан обливается потом. Она встревожилась. Казалось, Жан, закрыв глаза, внимательно прислушивался к действию каких-то таинственных сил внутри себя самого. Но вот он улыбнулся жене, и его улыбка, мягкая, ласковая, тронула ее до глубины души.

— Пить что-то хочется, — прошептал Жан.

На следующее утро температура у него не поднялась, она, наоборот, была слишком низкой. Это слегка успокоило Ноэми, впрочем, удержать Жана дома после завтрака она все равно не смогла. Настойчивость Ноэми, судя по всему, пришлась Жану не по душе. Он даже несколько раз посмотрел на часы, будто боялся опоздать.

— Твоя супруга решит, что ты спешишь на свидание, — пошутил господин Жером.

Жан промолчал. Из прихожей донесся звук его торопливых удаляющихся шагов.

Сумрачное небо предвещало грозу. Природа словно замерла: ни птичьих трелей, ни шелеста листвы. Весь этот день Ноэми томилась в бездействии у окна. В четыре часа раздались мерные удары колокола. Ноэми перекрестилась: кто-то отдавал богу душу.

— Это по Пьёшону-младшему. Он уже утром едва не преставился, — услышала она с площади.

Крупные капли дождя прибивали дорожную пыль, запахло грозой. Свекор еще не проснулся, и Ноэми пошла на кухню поговорить с Кадеттой о Робере Пьёшоне. Та по своей глухоте колокольного звона не слышала, но предположила, что новости можно будет узнать у «мусью Жана». Видя, что Ноэми не понимает, Кадетта запричитала: она, мол, так и думала, что госпожа ничего не знает, не то бы госпожа не позволила «нашему мусью», такому болезненному, каждый день ходить к Пьёшонам. Вот уже целый месяц. Ей же «мусью» строго-настрого запретил об этом рассказывать. С трудом скрыв свое изумление, Ноэми вышла.

Дождь прекратился. Ветер поднимал пыль и гнал по небу свинцовые тучи. Ноэми направилась к дому доктора, где смерть уже затворила все ставни. На пороге появился Жан. Несмотря на пасмурную погоду, он моргал, словно солнце слепило ему глаза. Жены он не заметил. Лицо его было землистого оттенка, взгляд устремлен в пространство. Он словно машинально двинулся к церкви, вошел. Держась на некотором расстоянии, Ноэми последовала за ним. Сырая прохлада церкви заставила ее вздрогнуть — так холодно бывает в земле, в свежевырытой могиле. Холод

пронизывает пришедших в церковь, которую время погружает все ниже и ниже и куда спускаешься теперь по ступенькам. И снова, как в предыдущую ночь, Ноэми услышала кашель, на этот раз гулкий, многократно отраженный церковными сводами.

XIV

Жан попросил, чтобы его кровать перенесли вниз, на первый этаж, в комнату, окнами выходившую в сад. Когда Жан задыхался, кровать передвигали на веранду, и он смотрел, как ветер то расширяет, то сужает просветы между листьями. Привели мороженщицу: Жан мог пить только холодное парное молоко и съедал лишь несколько ложек мороженого. Отец навещал его, улыбался, но держался подальше. Жан хотел бы умереть в полумраке своей комнаты, однако он предпочел сад, чтобы Ноэми, не дай бог, не заразилась. Уколы морфия приносили облегчение. И покой! Покой после ужасных полуденных часов у постели Пьёшона-младшего, кричавшего от отчаяния, — так ему не хотелось навсегда покидать этот мир с вечерними гуляньями в Бордо, танцами в пригородных кабаре под звуки механического органа, долгими поездками на мотоцикле, когда песок прилипает к мускулистым ляжкам и ты обалдеваешь от скорости, и особенно ласками девиц.

Казенавы распустили слух, что из-за скупости

господина Жерома его сын не может переехать в место с более здоровым климатом, куда-нибудь в горы. Но во-первых, Жану вовсе не улыбалось умирать вне родного дома, а во-вторых, доктор Пьёшон заявлял, что против туберкулеза нет ничего лучше ландских лесов: он даже обставил комнату больного молодыми сосенками, как на праздник Тела Господня, и обложил кровать горшками, до краев наполненными смолой. В довершение всего он призвал своего молодого коллегу, хотя еще прежде удостоверился, что йод в сверхдозах Жан больше не переносил.

Ноэми встретила красавца доктора с полным равнодушием. Она даже не замечала, что он бледнеет, когда она на него смотрит или когда руки их случайно соприкасаются. Каждый раз, сталкиваясь с доктором, она радовалась, что теперь для нее существовал только один человек — умирающий супруг. Возможно, впрочем, в ее подсознании жила мысль о том, что доктор у нее на крючке. Может, и спокойствие ее отчасти объяснялось тем, что придет время, и она вытащит его на берег, живого, трепещущего. Жан не позволял Ноэми целовать себя, но не возражал, когда ее прохладная ладонь ложилась на его лоб. Верил ли он теперь в ее любовь? Верил и говорил «Бла-

гословен Господь, который перед смертью одарил меня женской любовью». Теперь он уставал от молитв. И пока Ноэми считала пульс, держа его запястье, Жан, как некогда во время своих одиноких прогулок, вновь и вновь повторял шепотом все тот же стих — крик Паулины: «Мой бедный Полиевкт кончается в постели...»[11], и с его губ не сходила улыбка. Он вовсе не считал себя мучеником. Все называли его бедолагой, и он соглашался, что так оно и есть. Взгляд, брошенный назад, на тусклую череду прошедших дней, еще больше укреплял его в этом мнении. Он прозябал, гнил заживо. Но в тихой заводи его жизни забил вдруг родник, и если жил он как мертвец, то умирал, возрождаясь к новому бытию.

Как-то вечером, когда кюре и доктор Пьёшон задержались в прихожей, к ним подошла Ноэми и с горечью попеняла им за их молчание: почему, мол, они не дали ей знать о ежедневных дежурствах Жана у одра больного чахоткой. Доктор понурил голову, стал оправдываться:

---

[11] Примечания: 11

Имеется в виду пьеса французского поэта и драматурга П. Корнеля (1606-1684) «Полиевкт», в которой рассказывается о вельможе при дворе римского наместника в Армении Феликса, тайно принявшего христианство. Полиеввкт желает совершить религиозный подвиг: в языческом храме во имя истинного Бога сокрушить идолы каменных языческих богов и принять за это страдание или даже смерть.

он не подозревал о плохом состоянии Жана. Он ведь и сам все время был рядом с сыном, кто бы мог подумать, что безграничное милосердие к больному обернется столь чудовищными последствиями? Кюре оборонялся более энергично: Жан сам потребовал, чтобы они молчали. И вообще, духовники обязаны сохранять в тайне то, что им поверяют их чада.

— Но ведь это вы, вы, господин кюре, настояли на злосчастной поездке в Париж!

— Я ли один, Ноэми?

Она прислонилась к стене, машинально царапая пальцем трещину в выкрашенном под мрамор гипсе. Больной закашлял у себя в комнате. Зашаркали башмаки Кадетты.

— Я принял это решение, помолившись, — добавил кюре. — Следует почитать пути Господни.

И кюре натянул куртку.

В глубине его души, однако, копошились сомнения, бессонными ночами он оплакивал судьбу Жана. Напрасно твердил он себе, что больной оставил завещание в пользу Ноэми и что господин Жером намеревается после смерти своего бедного сына передать дом и большую часть своего имущества молодой женщине — при условии, правда, что она не выйдет замуж вторично. При

всей своей щепетильности кюре был слишком склонен вмешиваться в жизнь других людей. И вот теперь кюре спрашивал себя, правильно ли он поступил. В том, что этот брак должен быть счастливым, кюре не сомневался. И тогда — *sub specie aeterni*[12] — ему вроде бы следовало радоваться удаче. Ему-то какой прок от всего этого? Добрый пастырь, он заботился лишь о своей пастве. Каждый раз он оправдывал себя перед своей совестью, но та снова и снова не давала ему покоя. Он боялся, что перестал отличать добро от зла. Сомнения в правильности его поступков раз за разом терзали сердце кюре. Из смирения он служил теперь в своей будничной сутане и отказался от треуголки, которая отличала его от других священнослужителей. Постепенно он освобождался от мелких пороков. Так, совершенно равнодушно принял кюре весть о том, что епископ предоставил ему, хотя он не был деканом, право носить мантию с капюшоном поверх стихаря. Разве пристало ему, хранителю душ, прилепляться сердцем к подобным пустякам? Сейчас самое важное для него — разобраться, какую роль он сыграл в этой драме. Был ли он послушным

---

[12] Примечания: 12
С точки зрения вечного *(лат.)*.

орудием Господа? Или бедный сельский священник дерзнул подменить собой всемогущего Бога?

Между тем каждый вечер по обледенелой дороге приезжал в своей коляске молодой доктор. Сквозь густые макушки сосен, сквозь сплетенные ветви цедился лунный свет. Круглые темные вершины деревьев парили в воздухе. Несколько раз в сотне шагов от коляски с одного склона на другой перескакивали короткие кабаньи тени. Сосны расступались перед низким облаком, скрывавшим луг. Дорога поворачивала, и с реки веяло холодом. Молодой человек в козьем полушубке, отгороженный от внешнего мира туманом и ароматным дымом из трубки, не думал о том, что высоко над соснами мерцают звезды. Словно идущий по следу пес, он не поднимал глаз от мертвой земли. И когда его мысль отвлекалась от кухонного очага, у которого он скоро будет сушиться, от супа с вином, он вспоминал о Ноэми, казалось, такой близкой, но такой недоступной. «И все же, — размышлял этот охотник, — я не совсем промахнулся, она ранена...» Инстинкт всегда подсказывал ему, когда женщина оказывалась в его власти и готова была молить о пощаде. Он слышал зов молодого женского тела. Он обладал столькими женщинами, к которым

поначалу нельзя было подступиться! Они были замужем за настоящими мужчинами, не то что этот плюгавый Пелуер! Неужели уязвленная им, не в пример другим лишенная защиты, она будет единственной, кто ускользнет от него? Разумеется, сейчас, когда ее муж при смерти, ей неловко решиться на такой шаг, но что удерживало эту завороженную голубку, пока ее супруг не был так сильно болен? Какой магнит влек ее во тьму, подальше от света лампы? Неужели она любила другого? В благочестие Ноэми доктор не верил, он полагал, что хорошо знает подобного рода женщин. Ему уже приходилось мериться силами с кюре в борьбе за подобную овечку. Благочестивая женщина обманывает, позволяет себе грешок, крутится вокруг огня, обжигается и в последнюю минуту проскальзывает между пальцами, словно невидимой нитью притянутая к исповедальне. И доктор принялся строить планы на то время, когда муженек Ноэми наконец окочурится. «Она будет моей», — усмехаясь, говорил он себе. Его терпение было сродни терпению охотника, сидящего в засаде.

В эти дни богобоязненные прихожане, зашедшие в церковь и думавшие, что они одни, не раз вздрагивали, заслышав с хоров горестные вздохи:

как только выпадала свободная минута, кюре предстоял здесь в полумраке перед своим создателем. Только тут он обретал мир, не тот мир, которым одаривает тишина сумрачных, словно погруженных на дно деревенских церквей, а тот, который ничто в нашем дольнем мире дать не в состоянии. Священник сознавал, как далеко от тщедушного существа, от того Жана Пелуера, который был способен разве что почистить паникадило да помочь женщинам сплести гирлянды накануне великих праздников, от губителя сорок, — как далеко отстоит от него этот умирающий, отдавший жизнь за други своя. Кюре склонял голову перед Тем, кто таинственным образом делал богоподобными своих рабов.

XV

Жара спала, и Жану, постоянно страдавшему от удушья, немного полегчало. Частые сентябрьские грозы опалили листву. Внук Кадетты приносил больному белые грибы, от которых пахло лесом и землей, и развлекал его, показывая пойманных овсянок. Птиц внук Кадетты откормит в темноте и, потушив в выдержанном арманьяке, подаст «мусью Жану». Вяхири в воздухе предрекали раннюю зиму: скоро уже придет время ставить для них приманки. Жан издавна любил позднюю осень, когда его душа вступала в тайный союз с опустелыми после жатвы полями, с рыжеватыми песчаными ландами, где одни лишь дикие голуби, стада да ветер. Он радовался, когда на заре открывали окно, чтобы он мог вдыхать тот же запах, какой вдыхал, в печали возвращаясь с охоты октябрьскими сумерками. Однако не дано ему было в покое ожидать перехода в иной мир: Ноэми не догадывалась, что умирающему необходима тишина, и если раньше она была не в состоянии скрыть от Жана свое отвращение, то сейчас она не могла избавить его от своего

раскаяния. Ноэми окропляла слезами его руку, умоляя о прощении. Тщетно твердил он ей: «Я сам тебя выбрал, Ноэми... я сам не позаботился о тебе...» Она мотала головой и ничего не хотела понимать, кроме того, что Жан умирал из-за нее: какой он благородный, возвышенный, выздоровей он — она бы в нем души не чаяла. Сторицей воздавала она ему ласку, на какую прежде была так скупа. Откуда ей было знать, что, пойди Жан на поправку, она тут же отдалилась бы от него и что любить она его могла лишь лежащего на смертном одре? Ноэми была очень молодой женщиной, неопытной и чувственной, не знавшей своего собственного сердца, сердца страстного, но бесхитростного и покорного Богу. Неуклюже пыталась она вытянуть из умирающего слова, которые избавили бы ее от угрызений совести. После подобных разговоров Жан падал духом и хотел только одного — не оставаться с женой наедине. Но это удавалось редко, так как господин Жером был прикован к постели всеми обрушившимися на него разом болезнями. Зато сколько самоотверженности выказывал молодой доктор! Жану оставалось лишь поражаться удивительной заботливости постороннего, в сущности, человека. Поддерживать беседу Жан не мог, но

чужое присутствие облегчало его страдания.

Однажды днем на исходе сентября, очнувшись от долгой дремоты, Жан увидел в кресле у окна Ноэми. Ее голова запрокинулась во сне. Жан прислушался к ее спокойному, как у ребенка, дыханию и опять прикрыл глаза. Но тут скрипнула дверь и, осторожно ступая, вошел доктор. Жану было невмоготу здороваться, и он сделал вид, что спит. Скрипнули охотничьи сапоги доктора. И снова тишина, тишина, заставившая Жана посмотреть, что происходит. Его новый приятель стоял над уснувшей Ноэми. Сначала он стоял прямо, потом слегка наклонился, его покрытая волосами рука дрожала... Жан закрыл глаза. Раздался шепот Ноэми:

— Ах, извините... Вы меня напугали, доктор. Я, кажется, задремала... Наш больной сегодня совсем плох. Да и погода ужасная. Лист не шелохнется...

Доктор ответил, что с юго-запада все же дует ветерок.

— Ветер из Испании принесет бурю, — отозвалась Ноэми. Бледный как полотно, сгорающий от страсти молодой человек сам был подобен буре. Его глаза заволокло, словно небо. Ноэми поднялась, подошла к Жану и встала так, что между ней и доктором, пожиравшим ее глазами, оказалась

железная кровать.

— Вам надо беречь себя, для его же пользы, — молвил доктор.

— О, меня ничто не берет, я нахожу силы, чтобы есть и спать, как зверюшка какая-то... Интересно, как ведут себя люди, умирающие от горя?

Они сели вдалеке друг от друга. Жан по-прежнему притворялся спящим. Стараясь не шевелить губами, он декламировал про себя, обозначая цезуру: «Мой бедный Пелуер кончается в постели...»

Поздняя осень задержала Жана в своих объятиях, укрыла, обволокла пахучими слезами. Он меньше задыхался, стал принимать пищу. И все же в эти дни Жан неимоверно страдал. Пока он на пороге смерти, пока жив, в Ноэми можно было не сомневаться. Но когда он отойдет во тьму, как ему противостоять домогательствам красавца доктора? Жалкая тень почившего не разлучит тех, кому судьбой предназначено любить друг друга. Но виду Жан не подавал: он по-прежнему пожимал руку доктору, улыбался. Как он теперь хотел выжить, чтобы победить этого человека, чтобы предпочли именно его, Жана! Какое безумство было желать смерти! Даже без Ноэми, даже вообще без женщины так хорошо жить, пить утренний

воздух, когда ласка легкого ветерка лучше всех других ласк... Обливаясь потом, с отвращением вдыхая запах своего больного тела, Жан глядел на внука Кадетты, который протягивал ему через открытое окно первого в сезоне вальдшнепа. О, охотничьи зори! Блаженство сосен с тускло-серыми вершинами на фоне лазурного неба, похожих на тех кротких людей, которых прославит Бог. За густой лесной чащей зеленый травяной ковер, ольховая роща и легкий туман указывают на родник, который подкрашивает охрой песчаная почва. Сосны Пелуеров подобны передовому отряду огромного войска, обороняющего все пространство от океана до Пиренеев. Они возвышаются над Сотерном и Прокаленной долиной, где солнце въяве присутствует в каждой виноградной кисти. Со временем Жан меньше думал бы о своем теле, так как уродство, равно как и красоту, в конце концов поглощает старость. У него оставались бы возвращение с охоты, сбор грибов. Солнечное тепло давних летних дней сохраняется в бутылках «Икема», а закаты былых лет окрашивают «Грюо-Лароз» в красный цвет. Хорошо также читать у кухонного очага, когда снаружи льет нескончаемый дождь.

— Вам ни к чему приходить сюда завтра, — ска-

зала тем временем Ноэми.

— Да нет же, я приду, — возразил доктор.

Понимала ли Ноэми? Могла ли она не понимать? Открыл ли он ей свои чувства? Суждено ли Жану умереть, так и не узнав, чем кончится это единоборство у его смертного одра? Казалось, кто-то решил, что бедолага Жан мало помучился в жизни, и теперь наспех готовил ему новые оковы, которые можно разбить лишь ценой неимоверных усилий. Однако звенья одно за другим разрывались вплоть до этого последнего обострения болезни: страсти его угасли еще при жизни, и настал день, когда он мог глядеть абсолютно на все с одной и той же благодарной улыбкой. Теперь уже Жан повторял не стихи, а простые слова вроде: «Это я. Ничего не бойтесь...»

Поздняя осень с ее дождями обступила сумрачную комнату. Почему все спрашивают, болит ли что-нибудь у Жана, когда его боль превратилась в радость? Из этой жизни он воспринимал лишь петушиные крики, шум коляски, призывный звон колоколов, бесконечное журчание текущей с черепичной крыши воды, а ночью — клекот хищных птиц и вопли умерщвляемых зверей. В последний раз для Жана заря окрасила своим светом окна. Кадетта зажгла очаг, и смолистый дым

заполнил комнату. Часто знойным летом ветер в ландах доносил до него запах горящих сосен. Теперь этот запах вбирает его умирающее тело. Д'Артьялы утверждали, что Жан еще слышит, хотя и не видит. Господин Жером в запачканной лекарствами ночной рубашке стоял у двери, вытирая платком слезы. Кадетта и ее внук преклонили в темноте колена. Голос священника, произносившего искупительную молитву, бился, казалось, в створки невидимой двери: «Покинь этот мир, христианская душа, во имя всемогущего Бога-отца, создавшего тебя; во имя Иисуса Христа, Сына Божия, живого, пострадавшего за тебя; во имя Духа Святого, сошедшего на тебя; во имя Ангелов и Архангелов, во имя Престолов и Властей, во имя Начал и Сил...» Ноэми не спускала с Жана горящего взора, говоря про себя: «Он был прекрасен...» Для жителей городка похоронный звон по Жану слился со звоном, призывающим к утренней молитве.

XVI

Господин Жером слег. Зеркала, в которых Жан Пелуер так часто созерцал свою невзрачную физиономию, были закрыты тканью. Тело Жана одели как для обедни. Кадетта даже нахлобучила на него фетровую шляпу, а в руки вложила молитвенник. На кухне стоял шум, как во время праздника: в столовой набралось человек сорок. Арендаторы рыдали вокруг катафалка, как античные плакальщицы. Кюре впервые служил по второму разряду. Каждому из приглашенных раздали по паре перчаток и по завернутой в бумажку монетке. Во время службы моросил дождь, но когда возвращались с кладбища, уже распогодилось. В ожидании воскресения мертвых Жан остался лежать в земле — в сухом песке, бальзамировавшем трупы.

Ноэми на три года надела траур. Столь долгий траур сделал ее в буквальном смысле невидимой. Она появлялась только на мессе, да и тогда переходила площадь, лишь удостоверившись, что поблизости никого нет. Даже в первые жаркие дни ее шею стискивал воротничок с белой

каймой. Некоторые сочли, что шелковое платье слишком блестящее и не годится для траура, и Ноэми отказалась от него.

Между тем распространился слух, что молодой доктор вдруг уверовал в Бога. В будни он зачастил на мессу: заходил в церковь между двумя визитами к больным. Когда спрашивали мнение кюре о столь утешительном для пастыря событии, тот отмалчивался в ответ, лишь его узкие, словно зашитые губы слегка расплывались в улыбке. Вероятно, кюре потерял авторитет, лишился силы убеждения, ведь он так и не смог добиться от господина Жерома, чтобы тот убрал из завещания пункт о запрете Ноэми выходить замуж, разумеется, если она хочет наследовать его состояние. Не удалось ему и смягчить суровый траур вдовы, чрезмерность которого он осуждал. Господин Жером кичился тем, что в его семье женщины вообще не снимали траур, да и родственники Ноэми как могли поддерживали в ней желание жить затворницей.

В зимние утренние часы в церкви царил полумрак, и молодой доктор, глядя на вдову, различал лишь смутную тень, да и сама Ноэми не поднимала глаз от плиток пола. Иногда, правда, он видел как в тумане ее лицо, лучащееся молодо-

стью, несмотря на уединенную жизнь и посты в день причащения. На следующий день после панихиды в годовщину смерти Жана, когда весь городок узнал, что Ноэми решила не снимать траурную вуаль, христианские чувства доктора были поколеблены. Он пренебрегал теперь не только мессой, но и своими больными. До старика Пьёшона дошли слухи, что его молодой коллега пьет, даже по ночам встает, чтобы пропустить рюмку-другую.

Господин Жером никогда так хорошо себя не чувствовал, и у его снохи появилось свободное время: она, правда, занималась поместьем, но сосны не требовали особого внимания. Ноэми по-прежнему твердо верила в Бога, но ее вера не была глубокой и не поддерживалась благочестивым чтением. Она была не способна к долгим размышлениям и оттого довольствовалась готовыми формулами. Нищих в смолистых ландах было кот наплакал, а толпу голосистых воспитанниц католического приюта для девочек лишь раз в неделю собирали у фисгармонии. Что же оставалось Ноэми, кроме как по примеру своих соседок предаться греху чревоугодия? На третий год траура Ноэми располнела, и доктор Пьёшон предписал ей один час в день ходить пешком.

Как-то в один из первых знойных дней она отправилась на ферму под названием Тартеум и, выбившись по дороге из сил, уселась на склоне холма. Ее обступал дрок, в котором жужжали пчелы. Слепни и мошки, выбравшись из вереска, кусали ей ноги. Всем своим грузным телом Ноэми чувствовала, как в груди тяжело бьется сердце. Она думала о пыльной дороге, которую недавняя вырубка деревьев полностью отдала на откуп пеклу и по которой ей надо было плестись до дому еще три километра. Ноэми сознавала, что навсегда останется пленницей бесчисленных сосен с красными клейкими ранами, нескончаемых песков и обожженных ланд. В душе этой малообразованной, не приученной думать женщины зарождались смутные сомнения, которые в свое время терзали Жана: не эта ли иссушенная земля, не отшельническая ли жизнь заставляли ее, несчастную, жаждавшую воды, вздевать голову, тянуться к воде вечной? Ноэми вытерла влажные руки платком с черной каемкой и поглядела на пыльные башмаки, потом вниз на молодые папоротники, похожие на лапы с растопыренными пальцами. Подняв глаза — в лицо пахнуло ржаным хлебом с мызы, — Ноэми, задрожав, вскочила на ноги: перед домом стоял

такой знакомый двухколесный экипаж. Сколько раз в узкую щель между ставнями глядела она с восторгом на сверкавшие на солнце оси его колес! Ноэми стряхнула с платья песок. Экипаж покачивался. Вскрикнула сойка. Окруженная роем мошкары, Ноэми, не шелохнувшись, во все глаза смотрела на дверь, готовую вот-вот отвориться. Приоткрыв рот, с комком в горле, она ждала, подобно бессловесному послушному животному, когда появится молодой человек. Дверь наконец открылась, Ноэми вглядывалась в полумрак дома, где двигались неясные тени. Знакомый голос на местном наречии предписывал принимать огромные дозы йодной настойки. А вот и сам доктор: на солнце блеснули пуговицы его охотничьей куртки. Арендатор взял лошадь под уздцы и сказал, что сейчас самое опасное время года: могут случиться пожары, сушь, трава под деревьями не зазеленела, в ландах уже нет воды... Молодой человек натянул поводья. Почему Ноэми так отпрянула? Какая-то сила не давала ей шагнуть навстречу, тащила назад. Ноэми спряталась в высоких зарослях вереска. Колючий кустарник царапал руки. На мгновение она замерла, прислушиваясь к шуму удалявшегося экипажа, уже скрывшегося из вида.

Разумеется, избегая встречи с доктором, Ноэми думала о том, что городок вознегодует, перестань она играть роль примерной вдовы. И потом, из-за завещания господина Жерома ее родня никогда не согласится на такой, по словам мадам д'Артьял, необдуманный брак. Но Ноэми преодолела бы все эти препятствия, когда бы ее не обуздывала иная сила, с которой не могло совладать ее влечение к доктору. Ничем не примечательная женщина, она была обречена на величие. Ей, простой невольнице, суждено было царствовать. Расположившая мещаночка должна была превзойти саму себя: для нее были заказаны все дороги, кроме одной — дороги отречения. В эту самую минуту в сосновом бору под комариный писк она осознала, что верность покойному осенит ее венцом смирения и славы, ей оставалось лишь подчиниться неизбежному. И Ноэми побежала через заросли вереска, и остановилась, только когда вконец обессилела, когда набились полные башмаки песка, — остановилась, обхватив чахлый дуб в одеянии из увядших листьев, все еще трепетавших на жарком ветру. Понурый дуб так походил на ее Жана!

Ля-Мотт, Вемар, июль.
Жоане, Сен-Симфорьен, сентябрь 1921 г.